

Силуэты и тени. Люди – те, кто живы, и те, кого нет на свете, но для меня все они, безусловно, живы, пусть и в памяти, потому что живо то, что создано ими, и останется это надолго, а возможно, и навсегда. И над каждым из них восходит в небесах, неизменно ясных, а поэтому и прекрасных, и сияет его звезда.

Силуэты и тени. Звук, очертивший незримый круг, ставший музыкою земной, той, что рядом всегда со мной.

Силуэты и тени. Свет, из далёких пришедший лет на страницы мои, чтоб вновь закипала, как прежде, кровь.

Силуэты и тени. Лад, выше башен и всех оград, крепче стен и мостов, сильнее всех ненастных минувших дней.

Кто откликнется мне теперь?

Не закрыта для встречи дверь.

И распахнуто вновь окно.

Что же было – тогда, давно?

Что же стало родным почти?

Всё, что смысл обрело в пути.

Из пространства – сквозь время – весть.

Всё, что было – и всё, что есть.

Генрих Сапгир. Поэт.
Конечно, авангардист.
Другого такого – нет.
Упитан был и речист.
Когда-то – был нищ и худ.
Потом – раздобрел. Усы
отпустил. В нём и кайф и труд
сочетались – во все часы,
все дни и все годы. Писал
для детей и для взрослых. Жил –
широко. Цену слову – знал.
Со всей богемой – дружил.
Напоказ – не тужил ни о чём.
То скрытен был, то открыт.
Характер здесь – ни при чём.
Причиною – строй и быт.
Дети его – любили.
Взрослые – тоже любили.
Дети у Генриха – были.
Друзья среди взрослых – были.
Много было друзей у Сапгира.
Не вмещала всех их квартира.
Не вмещала всех их – Москва.
Вся страна – вмещала едва.
Может быть, и не все, на поверку, были друзьями.
Были, скорее, приятелями. Товарищами. Большинство.
Но со всеми Генрих общался. Пусть разбираются сами.
Кто из них друг? Неважно. Важно – что любят его.
Ценят его. Понимают.
Стараются понимать.
Всех Сапгир – принимает.
Всех идёт – обнимать.
Всех Сапгир – привечает.
Всех угощает вновь.
Всё Сапгир – примечает.
Вот вам и вся любовь.
Обиды – не забывает.
Делает вид – что забыл.
От людей – ничего не скрывает.
Ну, пьёт. Но и раньше – пил.
Ну, гуляет. И раньше – гулял.
Безобразничать, правда, не любит.
Лишь души он – не оголял.
Знал, что это порою – губит.
Душу он от людей – берёт.
Сердце – вот оно, нараспашку!
Мог он друга спасти – видит Бог.
Неимущим – отдать рубашку.
Жил свободно. Прощал долги.
В ресторанах кутил, бывало.
С пьяных глаз не видел ни зги.
Мгла его с головой скрывала.
Протрезвев – он работал. Был

он рабочей лошадкой. Хваткой.
Ничего, что гулял и пил.
Временами – грустил. Украдкой.
Но старался, навеселе,
не хандрить, завязать с тоскою.
Был он – гостем. На всей земле.
Мир был – вечной чистой доскою.
Был – хозяином. На пирах.
Был он в центре любых компаний.
Всюду помнил он – о дарах.
Избегал он всегда – страданий.
Жизнь есть праздник. А может, сон?
Жизнь есть радость. А может, сказка?
Размышлял и об этом он.
Находилась всегда подсказка.
Жизнь – удача? Зелёный свет?
Жизнь – кошмар? Или, всё же, – чудо?
Жаждал чуда он. Был – поэт.
И стихи он читал – повсюду.
Где бы ни был он. Пусть – Париж.
Пусть – Москва. Сингапур? Годится.
В небесах он летал, как стриж.
Всем хотел он впрок насладиться.
Всё – впитать в себя. Всё – постичь.
Шелест листьев. Маразм барака.
Всюду некий он чуял клич.
Скорпион был – по Зодиаку.
Мог за тридевять он земель
оказаться, под настроенье.
А ещё любил – Коктебель.
Здесь ждало его – вдохновенье.
Море пело ему: живи!
Окрылённый, он вторил морю.
Жил он – искренне. Жил – в любви.
И – с судьбой никогда не споря.
Всё сложилось само собой.
Утряслось. Устоялось как-то.
Был доволен Сапгир – судьбой.
Знал он должную цену – факту.
Не метался, как все вокруг.
Шёл, упрямо, неспешно, – к цели.
Был Сапгир – настоящий друг.
И остался таким – доселе.
Пусть и в памяти. В книгах. Пусть.
Это – важно. И это – много.
Я твержу стихи – наизусть.
И судить не берусь я строго.
Ни о нём самом. Ни о том,
что написано им. Не надо
забывать на месте пустом,
сколь был сложен выход из ада
к свету райскому. Генрих – чист.
И душою, и сердцем. То-то

улыбается он, артист –
знать, опять приберёт щедроты
для людей – там, где он сейчас
пребывает. Но где – не знаю.
И его – уж в который раз –
не случайно – я вспоминаю.

Для детей – сочинял он пьесы для театра кукол. Сценарии для мультфильмов, оригинальные. То есть был ещё и драматургом.

Переводил стихи и сказки Овсея Дриза.

Издавал, в огромном количестве, регулярно, из года в год, книги детских своих стихов, популярных, доселе читаемых.

Творчество же для взрослых сапгировское – статья не из простых, особая.

Был довольно известным в богеме самиздатовским давним автором.

Познакомился с ним я осенью шестьдесят четвёртого года. И тогда же мы подружились.

Жил Генрих тогда на улице, название коей никак не вспомню, неподалёку от шумной улицы Горького, в сторонке, на тихой улице, ответвляющейся от центральной вправо, если идти пешком от площади Маяковского к Белорусскому, встарь воспетому Пастернаком, в стихах, вокзалу.

Там, в доме, ничем решительно в то время не примечательном, в заурядной, типично московской, коммунальной советской квартире, была у него своя комната.

В этой комнате регулярно собирались в далёкие годы весьма интересные люди.

Вся компания лианозовская – ученики Евгения Леонидовича Кропивницкого.

И прочие. В основном сапгировские приятели.

Но захаживали и другие.

Здесь читали стихи. Постоянно.

Спорили – так, для профформы, далеко не всегда, иногда. Выпивали – в охотку, частенько.

Просто так собирались порой – вечерок скоротать, покалякать, хоть немного всем вместе побыть.

Здесь висели картины: Рабин, Кропивницкие – и остальные художники авангардные, левые, полуподпольные.

Здесь Сапгир писал свои пьесы.

Черновики этих пьес, чтобы комнату не захламлять, он выбрасывал в туалет – солидные пачки бумаги с машинописью, густо правленной лёгкой рукою поэта, всегда находились там и всеми гостями использовались обычно по назначению.

Генрих был всегда при деньгах.

Зарабатывал он хорошо.

Всё складывалось у него, в смысле заработков, удачно.

Был он всегда востребован.

Был любим – как детский поэт, уважаем в московских издательствах, выпускающих в свет его книги.

В мире кино и театра относились к нему с симпатией.

Вполне устроенный в жизни, мог он вполне позволить себе после трудов праведных расслабиться, погулять.

Частенько был под хмельком.

Нередко – попросту пьяным.

Ещё без усов знаменитых, уже не худой, а полнеющий, вальяжный, можно сказать, сидел он в центре компании, внимающей вечерами ему, вдохновенно читающему стихи свои, новые, свежие, – а по просьбе гостей – и старые.

Читать на публике он любил. И умел это делать.

Наверняка сохранились магнитофонные записи.

Читал он в своей манере, темпераментно, артистично. Наблюдал за реакцией слушателей.

Очень любил, когда все его тут же хвалили.

Произношение было у него весьма характерное, этакое французистое.

Использовал он всевозможные речевые эффекты, любил вовремя, с толком расставленные, там, где надо, акценты и паузы.

Всем известное:

– Взрыв!.. Жив...

Или:

– Как маш, как маш, и на, и на, и на!.. Как машина!.. –

это из книги «Люстихи», из любовной его лирики.

Ревновал, случалось, к другим современным друзьям-поэтам.

К Бродскому, например.

Говорил иногда:

– Это надо же, какая, с такой скучищей в некоторых его поэмищах, под которые, при его, Иосифа, чтении, преспокойно выспаться можно, и проснуться, и ровным счётом ничего ведь не потерять, у него широкая слава!

Целых тридцать пять лет Сапгир, непрерывно, то больше, то меньше, – всё зависело от настроения и от выпитого накануне и с утра ещё не поправленного, или вовремя, с чувством, с толком, с расстановкой, как говорится, с удовольствием явным выпитого, потому и определившего превосходное настроение, на весь день, уж точно до вечера, чтобы вечером подкрепиться новой выпивкой, ставшей поводом для хорошего настроения, для душевных бесед, после чтения или слушания стихов, с интересом, всё возрастающим, то ли к выпивке, то ли к поэзии, да не всё ли равно, если был он в дни любви, в любых состояниях, неизменно, самим собой, а вот это и важно в поэте настоящем, а он был всё-таки настоящим, я это знаю лучше многих, поверьте на слово мне сейчас, – ревновал ко мне.

Но и тянулся ко мне, открыто, искренне, сам.

Ему интересно было со мной. Да и мне интересно.

Мы дружили, можно сказать.

Он ценил меня, уважал, выделял всегда, – как поэта.

По-дружески, по-человечески, – даже любил, пожалуй.

Был долгий, славный период, лет пятнадцать подряд, наверное, когда мы с ним, лишь за вычетом отъездов моих из столицы, виделись постоянно.

Помню, в пору моих бездомниц, долгим, с выпивкой, с чтением, нами обоими, наших тогдашних стихов, согревших сердца и души людей богемных, шумным, дружеским вечером, в семьдесят четвёртом году, зимой, на вопрос лобовой одной приютившей меня у себя в коммунальной квартире дамы обо мне, к теплу и уюту привыкающем: «Он талантливый?» – Генрих, вытащив, для порядка, в коридор её и негромко, но зато по-сапгировски пылко, убедительно, так, что я, находившийся в комнате, слышал слова его, прозвучавшие для этой дамы приказом, руководством к действию или, вполне возможно, заветом, всё годилось тогда, сказал ей:

– По-моему – очень талантливый!

И дама, очень ценившая личное мнение Генриха, отнеслась ко мне с максимальной нежностью и заботливостью.

Генрих был по-своему добрым человеком. В меру, но был.

Помогал друзьям. Привыкал к ним.

Жизнь его долго делилась на две неравные части.

Первая часть, поменьше, считанные часы, – работа, необходимая, вынужденная, для заработка.

Вторая, значительно больше, – для сочинения собственных стихов для общения бурного с людьми, ему симпатичными.

Юмор всегда был при нём и нередко его выручал.

Изредка, временами, Генрих бывал и грустным.

Почти всегда – заводным, хмельным, живым, увлекающимся.

И столькое было в его поведении от игры, что становилось понятно, почему он умеет писать для детей, – потому что это было ему дано! – и этот вот игровой, немаловажный, момент, присутствие увлекательной, интересной, полезной игры, всегда, совершенно во всём, в чём принимал он участие, где находился тогда, выпивал, разговаривал с кем-то, читал кому-то стихи, – настраивали обычно на хороший лад, неизменно привлекали внимание, втягивали в общую, вдруг разросшуюся игру, – да, именно так.

С ним было мне легко. Легче, намного, нежели с другими друзьями богемными.

Солидная разница в возрасте – почти восемнадцать лет – как-то не ощущалась.

Он любил мои ранние книги – за их новизну, как потом, целыми десятилетиями, не забывал он подчёркивать.

Думаю, прежде всего, за то, что стихи эти были, по-своему, авангардными.

Когда манера письма у меня постепенно стала более традиционной – только внешне, для всех подчеркну, и более, нежели в ранних вещах, глубокой и сложной – внутри, в структуре самой, в особого рода образности, в синтезе, в полифоничности зрелых моих вещей, – Генрих воспринимал их уже с натугой, не сразу, и не всё до него доходило.

А может быть, да, конечно, и это скорее всего, просто сказывалась давнишняя привычка, даже инерция, встарь ещё укоренившаяся в нём: авангард, и только.

Ревновал. Почему? Потому что сам он так не писал.

Поглядывал вроде бы издали – со своего, привычного, рабочего, личного поля – на моё, рабочее, личное, поле творческой деятельности – и, понимая, что каждому своё, что, в работе своей, я ушёл далеко вперёд, всё-таки оставался при своём, упрямясь, артачась, продолжая на собственном поле собственные идеи разрабатывать и выращивать свои, по старинке, всходы.

Он всё же немного лукавил. Чего-то недоговаривал.

Авангардист, новатор, – любил он поэзию русскую, страстно, преданно, издавна, – в том числе и традиционную внешне, по форме, то есть все лучшие образцы её.

Когда в середине смутных, какбывременных, девяностых, в Коктебеле, зашёл я к нему, в комнату, где обитал он, из Москвы приехав, на первом этаже окружённого зеленью корпуса в доме творчества, увидел я, прямо с порога, сразу же, вовсе не взятые с собою на юг авангардные, как могло бы, наверное, быть у поэта-авангардиста, по его

пристрастиям, книги, а лежащие у изголовья, на тумбочке, две, всего-то, и достаточно этого, книги, – это были Тютчев и Фет, с собою Генрихом взятые, для души, от большой к ним любви.

Сам же Генрих снова читал мне стихи свои, наиновейшие, понимает-ся – свержавангардные.

Живой человек, живые, меняющиеся пристрастия.

И в период нашего СМОГа был Сапгир неизменно живым, да ещё каким ведь живым, всех живее вокруг, человеком!

Относился к тому, что мы делали, вовсе не с любопытством, богом-ным, недолгим, временным, и не просто с малозначительным, поверх-ностным интересом, но более чем внимательно.

Думаю, нас, тогда совсем ещё молодых, он всё-таки понимал.

По крайней мере, двоих поэтов – меня и Губанова.

Остальные смогисты для Генриха – были уже потом. После нас. Ин-терес к ним брезжил в отдаленье – и угасал. Почему? До сих пор не знаю. Но – догадываюсь: по причине их ненужности – для Сапгира. И – его авангардного мира.

С Губановым вскоре Сапгиру общаться стало непросто – из-за Лёни-ной непредсказуемости.

Он предпочёл общаться со мной, человеком воспитанным.

И – привык постепенно ко мне.

И я к нему – тоже привык.

Старший друг. Важно было мне знать: есть у меня такой вот, хоро-ший, надёжный друг.

Мы с ним как-то разумно, сразу же, не сговариваясь ни о чём, рас-пределили наши личные сферы влияния и области наших личных твор-ческих интересов.

У меня всё было – своё, у него всё было – своё.

Даже в бедах один к другому в душу мы сроду не лезли.

Проявляли всегда деликатность.

Понимали оба отчётливо: почему-то, волею судеб, не иначе, так получалось, в этой жизни, с её кошмарами чередой, мы друг другу – нужны.

Свои новые тексты всегда Генрих читал мне первому.

Разыскивал, специально, меня, в период бездомииц моих, приезжал туда, где временно я обитал, стихи мне читал – и жаждал поскорее уз-нать моё мнение о новых своих сочинениях.

Приезжал и в квартиры мои, до и после моих скитаний.

Приезжал, потому что считал: есть у меня особое ухо, за ухом обыч-ным, то есть слух на стихи – абсолютный.

То, что я говорил ему о стихах его, с глазу на глаз, Генрих крепко запоминал.

Сам я читал стихи свои с годами ему – всё реже.

Предпочитал дарить книги свои самиздатовские, чтобы Генрих, в домашних условиях, тексты читал с листа.

Я ещё напишу о Сапгире, в других частях своей серии книг о былой эпохе «Отзывчивая среда».

А пока что – вижу его, поэта, в шестидесятых.

Вот он, в возрасте, вроде бы, зрелом, но достаточно молодом ещё, года за три до сорока, душа развесёлой компании, среди картин, буты-лок, рукописей и книг, в окружении чутко внимающих ему, своему по-эту, восторженных, вдохновенных, в меру хмельных людей крылатых шестидесятых, – вот он, стихи читающий, весь – в голосе ясном своём,

в этих пружинных вибрациях, раскатистых интонациях, понижениях бархатистых или, вдруг, повышении тона, в чёткой, отточенной дикции, в игровых, заводных переливах звуков, и рой ассонансов, резких ритмических сдвигов, грассирующих перепадов окружает его, человека орфического, как и всех собравшихся здесь гостей, – а за окном коммунальной, прокуренной, тесной комнаты зима, февраль, и в Москве – белый снег и неистовый СМОГ.

Сапгир пострадал из-за СМОГа.

Не приняли мерзопакостные начальники-негодяи Сапгира в Союз писателей.

Обозвали Сапгира – фюрером. Не чего-нибудь там, а смогизма.

Каково было это услышать?

Но Генрих не растерялся.

Перешёл в Союз драматургов.

Там его с ходу приняли.

Наплевать на советских писателей.

Видели не одни они – видел ещё и Бог,

что Генрих душою всею принимал и приветствовал СМОГ.

Игорь Сергеевич Холин.

Высокий, очкастый, костистый.

Может быть, жилистый? Нет.

Плотная, длинная, твёрдая кость – под кожей. Мослы, сухожилия.

Очки – тяжёлые. Из-под очков – трезвый, холодный, колючий, иногда ещё и насмешливый, изредка – добродушный, но всегда – из-под стёкол, из-под прикрытия, как из укрытия, как на фронте, как при опасности, всегда начеку, всегда, по сигналу тревоги, поднятый в ружьё, всегда в карауле, всегда – есть! – наизготовку, в случае необходимости сразу же мобилизованный, без надобности – обычно сроду не возникающий, сам себе дающий отбой, сам себя ровно в срок пробуждающий, цепкий, бывалый, тёртый, много чего кому-нибудь вроде бы и говорящий, но всё же предпочитающий невозмутимо помалкивать, жёсткий, плотно закрытый от слишком уж любопытных, в присутствии странном своём неизменно, что делать, привычка, где-нибудь постоянно отсутствующий, чтобы, если уж появиться, то внезапно, застать всех врасплох, сложный, седой, аскетический, чуть подёрнутый влагой, талый, принимаемый всеми как данность, страшноватый, как у анатома, наблюдательный, как у разведчика, бьющий в цель без промаха взгляд.

Еле-еле, как стебелёк сквозь асфальт под ногами прохожих, проби- вающаяся улыбочка на сухих, поджатых упруго, как у пастора протестантского, раскрывающихся иногда – лишь для короткой фразы, для дельного замечания, для мудрого изречения, для житейского поучения, но больше, так уж сложилось, существующих – для молчания, для резко, сознательно суженного речевого, впритык, пространства, в котором, увы, и единственному слову-то тесновато, не то что внезапно явленному целому монологу, вырезанных грубовато, зримо, просто, как на игрушках деревянных, продукции наших российских народных промыслов, без особых затей и без лишних, никому не нужных примет, на висячий замок невидимый зачастую закрытых губах.

Руки – длинные.

Ноги – крупные.

Шаг – широкий, устойчивый, твёрдый.

Походка – не то чтобы лёгкая, не спортивная, но молодая какая-то, не зависящая, ни в коем разе, от возраста.

Повадки – сплошные загадки, зачастую без всякой отгадки, повадки – штрихи к портрету человека без тени, прошедшего немалую школу жизненную.

Да так ведь оно и было.

И никуда не сплыло.

Холин – легенда. Богемная.

Военная. И тюремная.

Барачная. Не смешная.

Отечественная. Земная.

Холину – всё дозволено?

– Как, вы не знаете Холина?

Холин – практичность, ясность ума, рассудительность, обстоятельность – во всём, что он делал, что говорил, даже в том, о чём он молчал.

Холин с виду – римский сенатор. Бритое, удлинённое лицо, короткая стрижка, выразительная седина.

Холин – сама независимость: как хочу я, так и живу, я вас теперь не трогаю – и вы меня лучше не трогайте, я к вам ни с чем не лезу – и вы ко мне вовсе не лезьте.

Холин – острое лезвие, зажатое крепко в руке, протянутой для приветствия.

Но Холин – ещё и гостинец, протянутый в этой же самой, уже раскрытой, широкой ладонью кверху, руке.

Загадочный человек.

Многими – так и не понятый.

Таинственный. В окружении сплетен и вечных баек.

Из окружения этого выходил он – во всеоружии, то есть был он вооружён, до зубов, – своими стихами. А позже – и прозой своей.

Его уважали. Побаивались.

Не любили – так откровенно.

Любили – так убеждённо.

Выделяли – везде и всегда.

Никому он себя не навязывал.

Был – собою. И это – главное.

Это было мне в нём – интересным.

Привлекало. Давало повод, не единожды, для размышлений.

Мы общались довольно тесно, пусть не так, день за днём, год за годом, в лабиринтах бесчашья, часто, как с Сапгиром, но всё же частенько.

Доброе наше знакомство с Холиным длилось тоже тридцать пять долгих лет, как и с Генрихом.

Одновременно почти, в шестьдесят четвёртом году, с ними обоими я, тогда молодой, познакомился.

Одновременно почти, вначале, первым, в июне девяносто девятого, Холин, а потом, через несколько месяцев, осенью, вслед за другом своим, и Сапгир, они умерли.

Оба связаны были учёбой у старика Кропивницкого.

Были тандемом этаким, дружеским, да и творческим.

Если кто-то встарь говорил: Холин, то вскоре он же говорил непременно: Сапгир.

Если звучало: Сапгир, то далее было: Холин.

Были они, по всем, как говорится, статьям, не похожими друг на друга, но всё-таки соединёнными общей судьбою, наверное, чем-то свыше,

той силой, которая выбирает пути людские, избирает из общей массы людской, временами, лишь некоторых и сталкивает их вдруг, сознательно их сближает, одаривает их дружбой, общими интересами, оставляя при этом их личностями полностью самостоятельными, по причине их проживания в России – поэтами русскими, по причине их принадлежности к авангарду – в достаточной степени интернациональными, так я считаю, ведь авангард иногда стирает черты национальные, творчеству придавая некую странную планетарность, что ли, приемлемость, в разных странах подлунного мира, – были оба они людьми, о которых можно сказать куда ёмче и проще, по-русски, по-простому: кремень и кресало.

Они высекали – огонь.

В их, конкретном, случае – творческий.

Холин ко мне был внимателен, ещё со смогистских времён и до последних своих лет, когда изредка с ним виделись мы в ПЕН-клубе, иногда на общем собрании, иногда на предновогоднем вечере, мероприятиях не больно-то интересных и, в общем, невразумительных.

Он и в старости, надо заметить, держался всегда молодцом.

А в шестидесятых годах, ещё до своих пятидесяти, когда мы общались с ним в гуще событий, чтений, посиделок во всяких салонах, хождений по мастерским, встреч почти деловых и приятельских, был он в полной силе своей, был вполне на месте в столице, – и только молва разносила: «а знаете, Холин сказал», – «а слышали, Холин опять написал такое что просто...» И вмиг – ветерок с говорком кулуарным, непредсказуемым, со смешком, с хохотком, с юморком, с посошком скороспелого слуха полетел по Москве: шу-шу-шу! – с любопытством, с живым интересом, – поскорее узнать бы, когда и где он читать вознамерится свою новую, клёвую вещь!

– Как, вы не знаете Холина?

Да, вы его не знаете.

Всех он ещё удивит!..

И – удивлял. Озадачивал. Огорашивал даже, бывало.

Давал по башке. Мозги встряхивал. Поражал.

Холин – чуть ли не монстр? Да что вы?!

Холин – мэтр? Постарайтесь сами

разобраться. На то он и Холин,

чтоб о нём вспоминать иногда.

Слышу голос его негромкий.

Пусть расслышат его потомки.

Озадачатся?

Удивятся?

Разберутся?

Не без труда.

А вот и ещё один Генрих. Поэт. Но уже – Худяков.

Человек деликатный, задумчивый, внутри себя долго живущий, глядящий меланхолически сквозь время, будто заглядывающий за некую, только ему и видимую черту, присутствующий где-нибудь – неизменно, всегда отсутствуя, отсутствующий – присутствуя, ну точно, да вот он, смотрите-ка, находясь где-то близко, вот здесь, в поле зрения вашего, рядышком, ан нет, показалось просто, и нет его – но он и есть, человек высокого роста, длиннолицый, спокойный, сдержанный, тихий, тихоня, казалось бы всякому, – да, это так, но тишина в нём была – пружинистая, с фантазией, и отделённость от всех была, скорее всего, защитой

мечты, или – тайны, или – страсти, допустим – к прекрасным путешествиям в области слов, превращаемой в область снов, бормотаний, противоречий, столкновений смыслов и тем, или, может, к иным путешествиям и мечтам, с которыми сжился он, – и входил он в пространство, как парусник, оснащённый жюльверновской техникой фантастической, впрок, на потом, а порою казался он птицей, а ещё моделью летучей, в небе детства свободно парящей, – таковы и его стихи.

То он записывал их не слева направо, в строку, а сверху вниз, по слогам, вертикальными, с вязью буквенной, чуть извилистыми полосками, иероглифами, по-китайски, то выворачивал их наизнанку, словно рубашку, то разбрасывал, словно брызги дождевые, по крошечным книжечкам, самолично сделанным им, и раздаривал эти книжечки, и на каждой писал: «Автограф».

То из Фроста, а то из Шекспира возникали темы его.

Наив:

– Пойти, что ль, на телёнка посмотреть?

Вопрос, изогнутый ключом:

– Ли быть, ли нет?

Цикл коротких стихов – «Кацавейки».

Что-нибудь ещё – по привычке, в нежданном, негаданном роде.

С выдумкой вечной сквозь выверт.

Но интересен был он, человек и поэт, мне всегда.

Бывало, говорили мы часами.

О чём? Не ваше дело. Знаем сами.

О том, о сём. Устроит вас? Ну, то-то.

Беседы наши были – сплошь щедроты.

Беседы наши были – откровенья.

Прозренья жили в них и дерзновенья.

Стихи кружились в них, подобно птицам.

И свет открытый пробегал по лицам.

Потом решил покинуть он Россию.

Уйти в пространство новое. В стихию.

В тепле грядущем руки отогреть.

Уехать. «На телёнка посмотреть?»

Не знаю. Но решенье в нём – созрело.

Встряхнуло душу. Птахою запело.

Призывно. За собою повело.

Куда? За словом, ищущим число.

Помню, как встретил его на холодной, пустынной улице, направляясь в гости к Сапгиру.

Худяков, худющий, задумчивый, измождённый вконец, шёл туда же.

Сказал мне тихо, растерянно:

– Тоска! Хочу выпить – и не с кем. Куплю бутылку сухого, зайду в какой-то подъезд, выпью там. В одиночестве. Сам. Выйду потом из подъезда. И дальше иду куда-то. Всё дальше иду. Куда?..

Году, наверное, в семьдесят четвёртом, случайно, встретил его в запущенном сквере возле Киевского вокзала.

Был он вместе со Львом Халифом, человеком бравым, бывалым, известным, но не стихами, а романом своим «ЦДЛ».

Оказалось, что оба они – вскорости уезжают.

Зашли, поначалу прикинув, где бы нам провести сегодня, на прощанье, часок-другой, все вместе, вина купив, к живущему неподалёку художнику Лёве Дурасову.

Посидели там. Помолчали,
Выпили символически.
Попрошались. Уже навсегда.
Больше я Худякова не видел.
Оказался он, путешественник в дебрях речи родной своей, далеко от
Москвы, в Америке.

Жизнь в свободной, но, в то же время, совершенно чужой стране
оказалась вовсе несладкой. Для него. Получилось – так.

Писал ли там он стихи?
Не знаю. Может – писал.
Пиджаки он там – разрисовывал.
Получались в итоге абстракции.
Худяковские. Неповторимые.
Их можно было носить, но также – на стену повесить, как холсты, и
смотреть на них.

Всё-таки – не кацавейки.
В девяностых годах он, вроде бы, писал уже настоящие, с размахом,
с полётом, холсты.

Огромные вещи. Абстракции.
Однажды устроил выставку.
Никто на неё не пришёл.
Как он сейчас живёт – совершенно не представляю.
Чем он занят – в своём далеке, в заграничном, глухом одиночестве?
Здесь, в Москве, где все его знали, был, конечно, он чудачком, но зато
и поэтом. Помнит ли, как читал он:
– Ли быть, ли нет?..

Овсей Овсеевич Дриз.
Выглянувший из сказки в кошмарную повседневность седой мечта-
тель. Поэт.

В безрукавочке меховой сидел себе в уголке на сборищах у Сапгира,
вино попивая. Смотрел глазами своими прозрачными – сквозь всех. Но
куда? Кто знает!

Сутулился, вдруг собираясь в пушистый, тёплый клубок. Волшеб-
ную нить вытягивал оттуда. Струною она вдруг становилась. Являлись
шагаловские скрипачи, играли. Дриз улыбался.

Метель за окном бушевала.
А здесь все были – свои.
Хорошо, когда люди – рядом.
Особенно в холода.
Уютно. Тепло. Спокойно.
Стихи читают. Вина достаточно. Сварят кофе. Чашечка невесомая,
фарфоровая, кузнецовская, в руке – словно птичка. Певчая.

Свеча на столе. Погасшая.
Но можно зажечь. Горит.
Горит, никого не корит.
Горит, о судьбе говорит.
Жёлтое пламя. Чёрная тьма за окном, с сединою метельной, сере-
бряной, пепельной.

Дриз чему-то вновь улыбается.
Но чему? Поди догадайся.
Не получится. И не пытайся.
Мечтатель седой. Молчит.

В уголке. В меховой безрукавочке.
Глаза свои щурит прозрачные.
Скрипачи ему что-то наигрывают.
Время тянет волшебную нить из клубка, за окно она тянется, вьётся
в небе метельном, теряется в круговерти неведомой, вроде бы возвра-
щается, вьётся над ним.
Дриз глядит на неё. Улыбается, доброй сказкою в мире храним.

Гена Цыферов. Детский писатель.
Тоже – сказочник. Может – волшебник.
Всё могло у нас быть в Империи.
Всё бывало. И Гена – был.
Соавтор Сапгира. Надёжный.
Многолетний. Любимый. Талантливый.
Ценитель ясного слова. Не бунтарь никакой, не оратор.
Супруг огромнейшей дамы по прозванию Император.
Чей-то ещё – супруг.
Людям славным – преданный друг.
Добрый увалень. Человек высокий, очкастый. Светлый.
Весь – из Моцарта. Прямо из музыки.
Выйдет из дому – словно из древнего, родового замка – в жестокую,
с пьянью, с нечистью всяческой, явь.

Улыбается – всем и всему. Призадумавшись, молча идёт по москов-
ским бульварам, по улицам.

То на солнышко тихо сощурится, то глядит на деревья, то слушает
воркование голубей.

Удаляется тихо в пространство. Приближается вдруг из времён явно
сказочных к нам – навсегда.

Внимательный к людям. Тактичный.

Со своей оценкою личной.

Классиков. И современников.

Собутыльников. Соплеменников.

Книжки писал хорошие для детей. Выпивал, бывало. Но тогда вы-
пивали – все.

Радовался: поэзии, речи русской, природе, всегда его окружающей,
всюду, во всей красе.

Жить бы ему да жить.

По стогнам столичным бродить.

Друзьям помогать и знакомым.

Вдохновляться с детства искомым.

Чем же? Чудом. Взглядов. Речей.

Тайным жаром ночных свечей.

Скромным благом еды, питья.

Непостижностью бытия.

Изумрудным плеском листвы.

Благодарностью всей Москвы.

За талант его, весь в цвету.

За внимание. Доброту.

За любовь. Ко всему. Ко всем.

Жил он щедро. И знал – зачем.

А он почему-то – умер.

Сапгиру так его часто, хоть кричи, нет – и всё, не хватало!

Не только соавтор, но – друг.

Причём настоящий. Верный.

Сокрушался Генрих. Страдал.

В Коктебеле, в семидесятом, всё он Цыферова вспоминал. Посмотрит порой на деревья – и сразу же вспоминает, как подойдёт, бывало, Гена Цыферов, чуть подвыпивший, добрый, благостный, нежный, к дереву, обнимет его, приговаривает с любовью:

– Родное моё!..

И – другим деревьям в округе тихо шепчет:

– Родные мои!..

И тихонько, задумавшись, плачет.

И голос у Генриха вздрагивал, и глаза мгновенно влажнели.

Хорошим был человеком Гена Цыферов. Настоящим. Чистым. Искренним. Честным. Высоким.

Весь – из Моцарта.

Может – из света?

В свет – ушёл.

Стал светом весенним.

Согревает и обнимает все деревья в мире истерзанном.

Говорит:

– Родные мои!..

Гена Распопов. Скульптор.

Борода густая. Глаза с искорками весёлыми.

Приветливый, добрый, крепкий, размашистый человек.

В мастерской у него, на Добрынинской, собирались мы часто встарь.

Читали стихи. Выпивали. По традиции. В меру. Всегда.

На стене висела, белея то ли снежною белизной, то ли отсветом смутным больничным, гипсовая, похожая на источник света нездешнего, маска Лёни Губанова.

Сам Губанов, живой, говорливый, храбро пил с Распоповым водку.

Приходили гости, рассаживались на расшатанных табуретках.

Начинался очередной, всем приятный, московский вечер.

Засиживались допоздна.

Метро было близко, по счастью.

До закрытия – все успевали.

На такси добирались домой в те года только в крайнем случае, да и то – если деньги были.

Через несколько дней, прошедших в суете, в кутерьме столичной и в трудах, – снова шли к Распопову.

Он встречал, он всех привечал.

Человек уникальный крылатых, невозвратных шестидесятых.

Общение! Вот что было важнейшим тогда для нас.

Поздний свет в окнах кривеньких старенького, со скрипящими половицами, с потолками высокими в трещинах, но с добротными стенами, дома.

Сугробы, ну прямо арктические, огромные, во дворе.

Беседы наши в тепле.

И компания тёплой была.

Хорошей, действительно. Дружной.

Потом Распопов уехал. Куда-то совсем далеко.

В заморские тёплые страны, где птичье пьют молоко.

Где тропики, пальмы, бананы, океанские волны, рай.

Отсюда, увы, не видно, где находится этот край.

Чуть ли не на Таити. Ну что ж, его можно понять.
Уехал – отнюдь не туристом. Работать. Что-то ваять.
Почти как Гоген. Похожей судьба хоть в чём-то была.
Вернулся. В Москве трудился, как прежде. Ну и дела!
Виделись мы всё реже. После воли – какой покой?
Он умер. В душе остался свет в окнах его мастерской.

Ещё один Гена. Геннадий Бессарабский. Отличный скульптор.
Автор памятника Тургеневу – замечательного – в Орле.
Я этот памятник видел. Радовался за Гену.

Был он сокурсником Эрнста Неизвестного. Эрнст о нём с уважением и симпатией не единожды вспоминал.

Потом его неожиданно, по неясной какой-то причине, почему-то парализовало. Ноги вдруг у него отнялись.

Прикованный долгие годы к своему инвалидному креслу, оставался он человеком полноценным, во всех отношениях.

Страстно любил стихи.

Очень меня выделял из всех. Поддерживал всячески. Бородатый, само собою разумеется, смуглый, с горячими, прямо огненными глазами, очень работоспособный, на редкость умный, воспитанный, добрейший, добрее некуда, страстный, искренний человек.

Мастерская его, на улице Архипова, справа, если идти по улице вниз, рядом с тихой в шестидесятых, в дни безвременья, синагогой.

Длинный стол деревянный, скамьи.

Жарко горящие свечи.

Маша, Генина верная, преданная, чудо просто, и только, жена, удивительная, спокойная, вся светлая, добрая фея, хранительница очага.

И вдохновенный Гена, собиравший нас у себя, живейшее, постоянное участие принимавший в деятельности нашего, легендарного ныне, СМОГа.

Боже мой! Как я помню его!

Как я вижу его сейчас отчётливо, словно здесь он, близко, рядом! Как слышу его хорошо, различая каждое произнесённое им, неспроста, наверное, слово! Как, мне кажется, лишь сейчас я его наконец понимаю!

Почему, почему же в прошедшие чередой густою, быстрою, за смогистской порою, годы, годы бурь и роста духовного, и невзгод, и надежд, и свершений, всё реже и реже к нему я заглядывал на огонёк, а потом и вовсе, ведь надо же, перестал, чудак, заходить?

Не знаю. Право, не знаю.

Такое святое, чистое, родниковое отношение к поэту, какое было у него, человека мудрого, особенного, ко мне, молодому, – поистине редкость.

Я хранил его образ в душе.

Мысленно с ним беседовал в период бездомии долгих.

Я возил повсюду с собою, как завет его, как талисман, записанные им, Геной, для меня, чтобы помнил об этом, в середине шестидесятых, в грозную, безумную пору, чётким почерком, на билете в музей Андрея Рублёва, пушкинские слова:

«Не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв».

Гена был для меня примером человеческой, личной победы над житейскими обстоятельствами жесточайшими, над судьбой.

Был всегда он самим собой.

Был он труженик настоящий.
Взгляд – и ответ свечи горящей.
Голос тихий – и ясный свет.
Слов его. Всех минувших лет.
Всех прозрений. И всех событий.
Свет наитий. И свет открытий.
Свет душевный. И свет сердечный.
Свет негаснущий. Значит – вечный.
Гена был человеком дивным.
Днём с огнём не найти такого на распутье эпох, на стыке двух веков,
посреди междувременья.

Гена был мне великим другом.

Был. Я знаю.

Он тоже умер.

Но живёт он – в своих трудах.

Как и прежде, в былых годах.

Но живёт он – в моих речах.

И в стихах моих – при свечах.

Взгляд его – различаю вновь.

Пробегает по жилам кровь.

Слово каждое – как алмаз.

Только слёзы текут из глаз.

Только щурюсь я вдруг на свет.

В нём – спасенье. И смерти – нет.

Через тридцать с лишним, прошедших после встреч наших с Геной, лет, после дружбы с ним, драгоценной для меня, старый друг мой, Михалик Соколов передал мне – от Маши, Гениной верной подруги, наперсницы, музы, вдовы, – небольшую, но выразительную, светлую, свет в себе таящую, или творящую, светом внутри говорящую, светом ритма и форм поющую, светом знать о себе дающую, светом память мою озаряющую, светом правды остаться желающую, светом веры ко мне вошедшую, грань забвения перешедшую, чтобы светом сиять и в будущем всей душою и сердцем любящим, белую, словно свет, незамутнённый, чистый, удивительную статуэтку, вылепленную им, Геной, давным-давно, в середине шестидесятых.

Я увидел – себя, стоящего с закинутой головою, вдохновенного, молодого, читающего стихи.

Сразу вспомнил, как Гена хотел мой портрет когда-то лепить.

Он не только меня, поэта, девятнадцатилетнего парня, в ореоле смогистской славы, читающего, изваял.

Он – голос мой изваял.

Выразил звук – в образе.

Образ наполнил – звуком.

Сумел передать – и порыв, и полёт, и восторг, и транс.

И – молодой мой голос...

Так. Вспоминаются дамы.

Судьбы. События. Драмы.

Темы: самые разные.

Дамы. Значит – прекрасные.

Дина Мухина. Дама поистине удивительная, особенная, со своим, гармоничным, прекрасным, от вторжений всяких извне годами

оберегаемым, чистым по-детски, миром, со своею, лишь ей одной известной, в душе хранимой, словно свет целительный, тайной.

Художница. Очень талантливая.

Керамикой занималась.

Маленькая, энергичная, с характерным своим говорком.

Жена знаменитого Эрнста Неизвестного, скульптора, спорившего когда-то, на выставке шумной в Манеже, с самим Хрущёвым.

Держалась Дина в тени своего, прошедшего ужасы войны, решительно вставшего на защиту искусства свободного в нужный час, от-важного мужа.

В тени этой – было светло.

Источником света была, разумеется, Дина Мухина.

Эрнст это – понимал.

Свет в тени – принимал.

Были супруги дружны, по-своему. Были счастливы. По-своему. Были они людьми совершенно разными. Но держались, во всяком случае, в шестидесятых, – вместе.

Как на войне. Поскольку Москва не фронт, но порою обстановка в ней, так получалось, была почти фронтовой.

Рисковали здесь – головой.

Жизнь была здесь всегда – грозовой.

Сложной. Бурной. Сверхнапряжённой.

С чем-то страшным и впрямь сопряжённой.

С чем-то дивным слитной навеки.

Жизнь была – в живом человеке.

Жизнь была – в жизни их четы.

В проявлениях доброты.

В уважении их – друг к другу.

В отношении – к новому кругу.

Ада, что ли? Спросите у Данта.

Жизнь была – развитием таланта.

(Звёздный путь. Нескончаемый дар.

В тёмном небе – светящийся шар.

Круг магический. Коло. Сфера.

Грань. В грядущем – новая эра).

Дина с Эрнстом были приезжими.

Людьми со взглядами свежими.

На искусство. И на богему.

Как теперь говорится, в тему.

В Москве – прижились, освоились.

Но вовсе не успокоились.

Покой, как известно, лишь снится.

Что делать, если не спится?

Работать. Они – трудились.

Успехов они – добились.

Трудились упорно дальше.

Открыто жили, без фальши.

Всё было у них – честь по чести.

Славно смотрелись – вместе.

Оба они – с Урала.

Что ж, поднимай забрало!

В бой! За правое дело!

Вели себя они – смело.

И особенно – Эрнст. Везде.

Шёл – к победе. К своей звезде.

Воевал. Утверждался. Всюду.

Проходил сквозь преграды. Рос.

Всё в нём было – только всерьёз.

Дина больше стремилась – к чуду.

Помню, как сквозь летящую золотую листву, сквозь дымку лиловою над столицей, сквозь какой-то благодатный, тихий, удивительно светлый дождь, за которым хотелось видеть не строения городские, а волшебную радугу, осенью шестьдесят четвёртого года потащила меня, вместе с Лёней Губановым, познакомившим нас, в хороший, наверное, день, потому что читал я стихи, и стихи мои были приняты, были поняты, были по сердцу моей новой знакомой, на прежних непохожей, особенной, это я видел, Дина к себе домой.

Там, в обычной московской квартире однокомнатной, пустоватой, без прикрас, без богемного шика, без художественности ненужной, артистичности показной, очень скромной, приятной, убранной аккуратно, чистой, спокойной, почему-то носившей, мне так показалось тогда, следы недавнего, налетевшего ураганом военным, разгрома, битвы, что ли, какой-то, яростной, разразившейся в этом гнезде, неизвестно зачем, стояла тишина, и домашний уют, в каждой вещи, в любом предмете, освещённом спокойным, приветливым, никуда не спешащим светом из окна, был столь очевидным, что почувствовал я себя здесь как дома, и улыбнулся человечьему, с добротой, в тёплом воздухе разлитом, с откровенностью золотою в ясном взгляде хозяйки, жилью.

Там спала безмятежно в кроватке дочь Эрнста и Дины, Оля.

Там на стенах висели тарелки керамические. Чудесные.

Словно птицы туда слетелись из волшебных краёв поднебесные.

Словно песни там зазвучали незнакомые мне, лирические.

Вот какие тарелки были предо мною тогда керамические.

Это были – видения дивные.

Это были – творения Динины.

Увидев своими лучистыми, пронизательными глазами таинственной, доброй феи сказочной, но скорее, так лучше, глазами талантливой художницы, их создательницы, что мне они очень понравились, Дина спокойно сказала, что было их много, да вот, почти все, увы, перебили.

Была здесь изрядная выпивка, публика собралась богемная, колоритная, кого ни возьми, о ком ни подумай, личность, и только, личность, ещё и какая, с характером каждый, с претензиями, с вопросами к окружающим, с неслышанным самомнением, с амбициями, с гордыней в душе, с упрямством, со взрывчатостью внутри, до поры до времени каждым сдерживаемой, но ждущей повода только, малейшего, чтобы вырваться вдруг наружу, пили, пили, пока всё не выпили, а потом, конечно, добавили, а потом и по новой добавили, а потом, набравшись гуртом, опьянев до последней степени, разгоревшись, раздухарившись, покрасневшись, разговорились, оживились, внезапно взвинтились, раскричались, и вот прорвало их, за грудки хватая друг друга, норовя доказать своё, тут же, сразу, всех убедить в правоте своей, утвердиться в торжестве своём над соратниками, собутыльниками, соперниками, в споре, в жизни, в питье, в искусстве, стали все выяснять немедленно, кто и как, лучше, хуже ли, так себе, на четвёрочку или на тройку, или даже на двойку с минусом, что совсем уж зазорно, братцы, ну а может, и на пятёрку, даже с плюсом, бывает всякое, в этой жизни своей крест несёт.

Эрнст, багровый, с глазами быка, налитыми бешеной кровью, шёл вперёд, как таран, на любого, кто ему возражать пытался, рвался в бой, наклоня слегка свою голову крепкую, с жилами на висках, разбухшими так, что звенели они, как струны, рвал рубахи ворот, ярился, рукава засучив, хрипел на гостей, в атаку готовый устремиться, всюю бушевал.

Гена Айги, поэт, маленький, как подросток, никакой не боец, а так себе, свидетель невольный битв, очевидец, не летописец, со страху забрался под стол – и там переждал бушевавшую над его головою бурю.

Выясняли свои отношения заядлые, пьяные спорщики не только на убедительных, или не очень, словах.

В ход пускали и кулаки.

Причём всё чаще и чаще.

Всё привычнее. Всё смелее.

Никого вокруг не жалея.

Как несёшь свой крест? Нет, не так!

Ну а ты? Вообще никак!

Ты – получше? Большой вопрос!

Получай-ка за это в нос!

Ты несёшь дольше всех из нас?

Получай-ка за это в глаз!

Крест – судьба? Пусть потом – потоп?

Получай-ка за это в лоб!

Вот какие были недавно фронтовые здесь посиделки.

Потому-то и перебили, в ход пуская их в драке, тарелки...

На столе у Дины лежали – аккуратно перепечатанные на хорошей белой бумаге плотной – стихи Айги.

Буря, видимо, их не коснулась.

Потом – почему-то – Дина потащила нас с Лёней Губановым именно к Гене Айги.

Что её повело туда?

Может быть, воспоминание тёплое – о сидении Генином под столом во время всеобщей битвы?

Как, мол, там наш поэт?

Успокоился ли? Отдышался ли?

Создаёт ли, на радость поклонникам своим, авангардные, новые, сверхсовременные, то есть такие, каких ещё не бывало в русской поэзии, и в европейской, верлибры?

А может, и не верлибры?

Камлания? Заклинания?

Поди разберись! Магические, языческие писания.

Пришлось нам уважить Дину и ехать с ней к Гене Айги.

Дома его, поэта модного, не оказалось.

Отсутствовал. Может, в музее Маяковского находился, где сидел в уголке Кручёных, попивая остывший чай и беседуя с ним неспешно о поэтике футуристов.

Ну а может быть, где-то в гостях, разомлев от спиртного, в облаке сигаретного дыма паря над столом, над притихшими, видимо, от почтения к явному классику авангарда, интеллигентными, с виду, полубогемными, так, для приличия, чтобы слишком среди прочих не выделяться, в кольцах, в бусах янтарных, дамами, почитательницами таланта поразившего всю столицу образованную поэта, он читал им свои стихи.

Всякое быть ведь могло.

Мало ли где находился в тот день осенний Айги!

Только дома его с утра, как оказалось, не было.

Не было и сестры Гениной, Евы Лисиной, известной чувашской писательницы.

Была здесь только Луиза, другая сестра поэта, слегка не в себе, но тихая.

Толя Зверев однажды за несколько мгновений, по вдохновению, находясь под парами винными, написал, на глазах у собравшихся в доме Айги гостей, её портрет потрясающий, причём при этом он пользовался только окурком, пеплом да ещё какими-то странными, простейшими, вроде вина красного, минимальными, подручными, как и всегда, чтоб далеко не ходить и ничего не искать, довольствуясь тем, что есть перед ним, художником, средствами.

Получился шедевр. Музейная вещь. Настоящий, высший пилотаж. Как сказал бы Сапгир, улыбаясь в усы, маэстрия.

Не знаю, где, по прошествии более чем сорока лет, сейчас, в наши дни, находится эта работа.

Может, она – у Евы.

Дом, в котором жил Гена Айги со своими родными сёстрами, деревянный, довольно большой, находился в Москве, но ещё и в настоящей старой деревне, расположенной высоко на речном берегу, над Сетункой, где-то за всем в столице знакомой Мосфильмовской улицей, этак двойственно – прямо в городе, спору нет, да никто и не спорит, согласитесь, но, факт есть факт, вещь упрямая, как известно всем на свете давно, и в деревне.

Приобрести его Гене помог в своё время Твардовский, после того как Айги перевёл на чувашский язык, хорошо, знатоки считали, поэму «Василий Тёркин».

Напоминал этот старый, деревянный, скрипучий дом, а вернее сказать – изба деревенская, очень сильно увеличенные часы-ходики, в виде домика, затейливого, симпатичного, бывали раньше такие.

Гену Айги мы так и не дождались тогда.

Уехали восвояси, под лепет невразумительный сиявшей глазами детскими из полумглы избяной, бревенчатой, шаткой, скрипучей, городской, вполне вероятно, да всё-таки деревенской, сестры поэта, Луизы.

А с Диной Мухиной я порою, изредка, виделся.

Редкостных, надо сказать прямо, достоинств женщина.

Юра Арндт, Юрий Андреевич, сосед мой по Коктебелю, сын Ариадны Арндт, скульптора очень хорошего, женщины, прожившей долгою, трудную жизнь, из круга давних друзей Волошина, сказал мне однажды, у нас, в Киммерии, вдали от Москвы, уже в конце девяностых, что теперь Дина Мухина пишет ещё и стихи замечательные.

И слава богу, что так.

Со словом Дина всегда – я-то знаю – была дружна.

Лариса Галкина. Тоже художница. Тоже – хорошая.

Выставлялась она, когда-то, в середине шестидесятых, на смогистских, уже легендарных, так вот время идёт, вечерах.

Была она долгие годы приятельницей Распопова.

Там с нею мы и познакомились.

Тихая. Очень скромная.

В ней грусть была – неуёмная.

В ней радость была – величайшая.

Тишина в ней была – глубочайшая.

По-настоящему, – я-то знаю, что говорю, за слова свои отвечаю, и давно, и теперь, – одарённая.

Светом ясных высот – озарённая.

Хрупкая, вроде, худая, бледная, птичка маленькая.

Но в ней энергия творческая – была всегда велика.

Была художница – труженицей.

И работы её давнишние, мне запомнившиеся надолго, темпера в основном, выполненные в особенной, характерной её манере, с проскрёбыванием обычным лезвием для бритвы, по красочному, бугристому, шероховатому слою, высветляющихся, мерцающих, вибрирующих фрагментов, сливающихся в единое, таинственное видение, хороши были очень, светились в полумгле мастерской, двоились, разрастались, одна в другую странным образом переходя, вырывались из рам, стремились к свету, к людям, жили своею, независимой, цепкой жизнью, продолжались в памяти, словно дальний шум ночного дождя.

Проявляла порой и характер.

Твёрдость духа. Ясность ума.

К одиночеству привыкала.

Всё умела делать – сама.

Вспоминаю её комнатёнку.

Чистота. Простота. Уют.

Выживала. Растила ребёнка.

Вот и птицы в судьбе – поют.

Вот и шелест лиственный – нежен.

И не страшен – житейский ад.

Вот и взгляд её вновь – безбрежен.

Вот и дело идёт на лад.

Появляется постепенно вереница новых работ.

Остаётся вдали мгновенно череда минувших забот.

Вырастает реальность новая – за окном, за стеной, вокруг.

Прямота правоты суровая. Век и труд. Магический круг.

Добрая в жизни, отзывчивая, в творчестве светлом своём – упорно, за шагом шаг, шла своею дорогой.

Да и в жизни, в быту, в общении, способна была на поступки.

Ко мне, с нашей первой встречи, была она очень внимательна, особенно в слишком уж трудные для меня, скитальца бездомного, измученного, усталого донельзя, мои периоды.

Носик остренький, птичьи глаза, худенькие, как на фресках египетских древних, плечи, прямая, как струнка, спина, пепельные, легчайшие, невесомые, тонкие волосы, белые крепкие руки рабочие – вот Лариса.

Больше четверти века, оставшегося позади, я не видел её.

Жива ли? Что с ней сейчас?

Где её уникальная живопись?

Ничегошеньки я не знаю.

Остаётся – лишь вспоминать.

Соня Губайдулина. Известнейший композитор современный, с мировым, так сложилось всё с годами, именем.

Композитор – с особой судьбой.

Авангардный, само собой.

Соня – птица, на воле парящая, но отнюдь не птица в силках.

Дама, свет Востока таящая в непокорных, дерзких зрачках.
– В струны великих, поверьте, ныне играет Восток, –
далеко не случайно сказал грядущее чуявший Хлебников.
Сложен мир, ничего не подделаешь, а порою и просто жесток.
Выжить в нём удаётся не каждому. Нет ни правил таких, ни учебников.

Но уныние – грех, как известно. И спасенье – в труде. Всегда.
И над эхом восточной песни разгорелась вовсю – звезда.
В струны Сонины в полную силу Восток играет сейчас.
Да и раньше ведь это было. Проявлялось вдруг. И не раз.
И звучали Сонины струны – сквозь каноны минувших лет.
И вставали вдали каноны дней, приемлющих странный свет.
Диковатый. Крутой. Восточный.
Чуть пугающий. Но – живой.
С ключевой водой проточной.
С гордо поднятой головой.
С горьковатой полынной мглюю.
С угольками костров ночных.
С далью, сшитую вкось иглою.
Из лоскутьев. Из слов родных.
С высью звёздной. И с глубиью тёмной.
С упоительной тишиной.
С неизбежностью снов укромной.
Чтобы в яви расцвести дневной.
С чем-то, выстраданным сквозь время.
С возрастаньем извечным тем.
С тем, что пройдено встарь – со всеми.
Что останется – насовсем.

На моём, поразившем сограждан собравшихся, авторском вечере в ненавидимом нами Доме литераторов, в феврале шестьдесят шестого, смогистского, с отголосками бурь недавних и событий печальных, года, Соня слушала, как я читаю стихи свои, словно слушала в тихом зале звучащую музыку, мою, молодую, светлую, музыку – навсегда.

После вечера – Соня тут же подошла ко мне и при всех высказала большое желание написать музыку на мои стихи тех времён, свою, губайдулинскую, авангардную, современнойшую, такую, какую она услышала в речи моей тогда.

Не помню теперь, почему я так и не отдал ей тексты.

Желание так и осталось – доселе – просто желанием.

Соня была женой Марка Ляндю, поэта, жившего в Томилино, в домишке финском, возле поля, где жители блёклого, затерянного с концами в подмосковных дачах посёлка осенью, потихоньку, но упрямо, и даже с азартом, привычно, из года в год, копали себе совхозную картошку, для пропитания, запасы немалые делая в кладовках и погребах, и Марк выходил на промысел, и нас привлекал иногда к работам на поле, и улица, на которой он жил, называлась, конечно же, Полевой, и картошка сгружалась в погреб, который вырыл однажды, самолично, под настроение, и, наверное, по вдохновению, Коля Боков, друг Марка, философ, прозаик, поэт, человек с голубыми глазами, потом, после того как погреб вырыт был и картошка в нём обеспечивала питание Марку Ляндю на целую зиму, – Соня стала женой Коли Бокова.

Однажды летом, в Крыму, в Коктебеле, с его свободой, бывшей по сердцу всем нам, тянувшимся отовсюду сюда, к берегам киммерийским,

к блаженству и счастью, к морю, к синим горам и холмам, к людям, любящим эти места, коктейбельцам, как их называли, и теперь называют, хоть сильно поредели ряды их, когда-то, в полном смысле этого слова характерного, неисчислимы, году в шестьдесят восьмом, только добравшись в свой рай прибрежный, с Кавказа, разительно непохожего на Киммерию, с её благородством строгим, с Кавказа, буйного, пышного, пряного, декоративного, всё же чуждого несколько мне, в отличие от домашнего, милого сердцу Крыма, из Сухуми, где жил я предместье Диоскурии, древнего города, в доме знакомых, у моря, едва отдышавшись с дороги, выхожу я на коктейбельскую набережную, чтобы прогуляться и оглядеться, и вижу такую картину: идут мне навстречу бодро вдоль шумной, сине-зелёной, с зигзагами пенными, линии прибоя, видением чудным, Соня с Колей, оба весёлые, загорелые дочерна, невероятно спортивные, сейчас бы таких для рекламы немедленно сняли, в кедах, с тяжёлыми рюкзаками, и рассуждают спокойно, понимая друг друга, пожалуй, с полуслова, нет, с полувзгляда, было так, о высоких материях.

Оказывается, они путешествовали, вдвоём.

Пешком, на ходу рассуждая о том да о сём, без надрыва, наблюдая красоты окрестные, прошли они через высокие кавказские перевалы, вышли к морю, дальше пошли, да так вот и оказались, почему-то, уже в Крыму.

Страсть к ходьбе, везде и всегда, в Коле жива и поныне, как выяснилось позднее, со временем, лет через тридцать.

Возвращавшиеся на родину эмигранты охотно рассказывали, что Боков и половину Америки исходил, по привычке давнишней, пешком, и всю исходил Европу, и до Святой земли добрался, и всю её тоже исходил, на своих двоих, разумеется, то есть пешком.

Это вполне в его духе.

Может быть, для походов своих он, любитель пеших прогулок, на свежем воздухе, на длительные расстояния, и из пещеры, которую вырыл он для себя в благословенной Франции, выбирался. Да наверняка.

Не сидеть же ему годами в темноте глухой, под землёй!

Иногда, и он это знает, лучше многих своих знакомых, полезно и поразмяться.

Ну а Соня, расставшись с Колей, отбывшим в эмиграцию, когда-то, в семидесятых, – преспокойно, без всяких сложностей, по собственному желанию, по известным лишь ей одной и весомым, наверно, причинам, уехала за границу.

Как только у нас в стране, после развала Союза, появилась, пусть и особая, не такая, как в прочих краях, необычная, мягко скажем, ибо жёстко стелет судьба для России пути-дороги, заковыристая свобода.

Живёт она, вроде, в Германии.

Стала теперь знаменита.

Музыка Сонины всюду, повсеместно и повсемирно, широко, постоянно, с триумфом исполняется. Музыка – всё для Сони. И здесь она, как говорится, дома.

Не знаю, ходит ли Соня, как в былые, уже легендарные, отшумевшие времена, подолгу, помногу, – пешком.

Но уверен я твёрдо, что прежние пешеходные путешествия ей на пользу только пошли.

Данте, бродя в одиночестве по каменистым тропам Тосканы, в тоске по Флоренции любимой, его, поэта, изгнавшей куда-то в пространство,

а может быть, прямо в вечность, терцины своей «Божественной комедии» сочинял.

Жаль, что когда-то, в конце шестидесятых, Эрнсту Неизвестному, при иллюстрировании этой книги, не удалось хождение именно выразить, движение, – впрочем, задачи у него были рода другого, да и ещё и офорт, безусловно, – техника не такая уж подходящая, что тут поделаешь, для передачи движения, – но зато Эрнст вполне успешно осуществил движение в пространстве, прошёл сквозь время, – и, перебравшись в Америку, ездит себе, при желании, по миру, иногда заглядывая и на родину, и наверняка такое движение, без принуждения, исключительно по желанию, помогает ему и в творчестве.

Соня же Губайдулина, без сомнения всякого, помнит прежние путешествия.

И они, вполне вероятно, стимул дают и движение нынешней её музыке.

Откуда она, эта музыка?

Всё оттуда же, из крылатых, невозвратных шестидесятых.

Потому что и Соня сама – из породы людей, о которых можно сказать лаконично: люди шестидесятых.

Талантлива? Да, конечно.

Даже очень. Дано ей это.

Стремление в ней – извечно.

К Востоку. К началу света.

Запад есть Запад. По Киплингу.

Мы привыкли читать между строк.

И на Сонином нотном стане

прочитаем: Восток есть Восток.

В ней живо – самое главное: горение. Потому-то – жива её музыка в мире, некая часть которого была ещё в шестидесятых изведена ею – пешком.

Ну конечно же – как же всем без него в богеме столичной обойтись, мне скажите? – Василий Яковлевич, художник, известнейший, нет, знаменитый, по всем статьям именитый, такой, что заткнёт за пояс любого запросто, Ситников.

Борода, жёстким клином, всклокоченная, со снежком седины, – вперёд.

Руки, жилистые, ухватистые, рабочие, длинные, сильные – взлетают мгновенно вверх, опускаются разом вниз, раскидываются нежданно, крестом широчайшим, в стороны, смыкаются, вновь приходят в стремительное движение.

Ноги в старых, но крепких ещё, сапогах начищенных по полу при-топтывают, приплясывают.

Фигура крепкая, сбитая, – никакого лишнего жира, сплошные бугристые мышцы.

Кость прочная и тяжёлая, ничем её, даже битой бейсбольной, которой ныне пользуются бандиты, сроду не перешибёшь.

Глаза, то с прищуром едким, то широко раскрытые, в зависимости от разных обстоятельств житейских, пронзительные, с этаким, в жёстком зрачке, лукавым смешком, с хохотком, но вот всё вокруг замечающий, до поры, до времени, взгляд превращается вдруг в стальное, разящее наповал, при надобности, остриё – и тогда уже ждите атаки, тогда леденеют глаза, зрачки сужаются, словно прицеливается в кого-то пощады

не знающий Ситников, рассчитывает свой выстрел из лука, мало кому видимого, но я всегда его, лук этот, видел, так это мне представлялось, – и тетива тугая привычно, умело натягивается, и стрела, удивительно меткая, блеснув на мгновенье, как молния, раскалённая до предела, обжигающая, разящая даже видом своим, летит, и точно, в десятку, в яблочко, попадает в нужную цель, промахов не бывает.

А потом опять он дурачится, ёрничает, балагурит, шутит этак порой необычно, грубовато, шероховато, по-народному, а ля рюс, да всё с вывертами, с поворотами, с закидонами вроде, с бредятинкой, а прислушаешься – и тут же понимаешь: всё это, братцы, и свежо, и оригинально, и умно, даже очень умно, и всегда по делу ведь сказано, вовсе не просто так, не для красного, с перцем, словца, не для национального вовсе, с русским духом сквозь мглу бесчатья безнадёжного, колорита, совершенно не для того, чтобы с диким, дремучим запалом, постоянно, упрямо подчёркивать, что он не такой, как все, – нет, было здесь нечто большее, здесь была своя философия – поведенческая, бытовая, повседневная, вроде бы, пусть, а на самом-то деле – творческая, ибо всё превращалось в творчество, и каждое слово его, словцо, иногда и молчание, было чем-то вроде мазка крохотной лёгкой кисточкой по холсту, и соткано всё было из красочных частных, из деталей мельчайших, каждая из которых работала, будучи частью целого, только на целое, и потому словесные тирады его, рассыпчатые, хрустящие на зубах, как сахар в детстве, и все грозящие перейти границы кем-то дозволенного, переходящие эти границы условные, смело, с куражом врождённым, с победным видом, с геройской повадкой, мол, казак всегда ведь в седле, не забывайте об этом, современные люди, божественная орда, разномастная слишком, чтоб в расчёт её брать, высказывания, неизменно парадоксальные, поучения, наставления, присказки, прибаутки – неотделимы вовеки от его ювелирной живописи, да и весь он, такой, как есть, вообще неделим, поскольку, в любой ситуации, – целен, вообще он – сплошная, народная, выживаемость и независимость, – и, юродствующий, он всегда защищён, и на нём не драная, решето, да и только, дыры, да прорехи, да швы, одежонка, но кольчуга, и кисти его, стрелы его, слова его – всегда и везде при нём, вот и выходит, что он – воин, порода такая, ничего не поделаешь с этим, он воин, пускай одиночка, но так вот, пожалуй, и надо, и это его устраивает, он в поле – во всеоружии, один, а ему – хорошо, ни от кого не зависит он, сам хозяин себе, сам себе голова, и поступки он совершает, поскольку способен совершать поступки, и даже, пусть звучит это громко, подвиги, но бывало ведь с ним и такое, и я-то об этом знаю, и что-нибудь отвергает решительно, принимает что-нибудь горячо – в одиночку, сообразуясь с тем, что ему подсказывает компас верный, его чутьё, а чутьё у него отменное, – и он из своей коммунальной комнаты в центре столицы, где всегда он в центре внимания, выбирается в гости, и там, в шумной компании, тоже, незаметно как-то, без всяких усилий лишних, естественно, потому что нельзя иначе, он таков, поймите, оказывается почему-то в центре внимания, и крутится этаким штопором, ввинчивается, вонзается в самую суть того, что ему открывается вдруг, по наитию, по чутью, и взлетает слегка над полом, и парит в прокуренном воздухе, и весь уходит в движение, поскольку никак нельзя ему без этого, жизнь – в движении, и незачем, право, лодырничать, – работайте, братцы, – «ефто» спасение ваше, а в будущем всей путаной жизни вашей и ваших упорных трудов оправдание, да какое!..

Ситников в СМОГе – был.

Ситников СМОГ – любил.

А вернее, любил он, сразу выделив их, из прочих, стихи – мои и губановские.

Помню множество встреч, разговоров.

Помню Ситникова – счастливого: есть поэзия! – русское слово, не смотря на запреты, живо!

Помню его – за работой: холст, мазок за мазком, расцветал. Человек этот был, в Москве, и во всей стране, – очень нужным.

В шестидесятых люди сами тянулись к нему.

Да и позже к нему тянулись.

Для многих художников наших был учителем лучшим он.

Вразумил их вовремя, долго наставлял, опекал, защищал, дал им веру в себя, вывел в люди.

Создал школу свою живописную.

Был любим, уважаем и чтим.

И зачем он уехал в Америку?

Чтобы там – захиреть, умереть?

Непонятно. Непостижимо.

Знать, чужое там было поле.

Оставался бы в поле отечественном, пусть – один, как всегда, по привычке, по традиции давней своей, – может, пожил бы он подольше. Вот и «ефто». Что за судьба?

Впрочем, был он всегда – в движенье, а за ним ждало – постижение: поля нового, доли, боли. Путь. Видать, недосуг ему было пот рабочий стяхнуть со лба.

Семья Кропивницких. Славная.

В богеме – наверное, главная.

По всем статьям – знаменитая.

Словно книга – слегка приоткрытая.

Сквозь бесчашье – брезжущий свет.

Групповой – как уж вышел – портрет.

В самом центре, конечно, Евгений Леонидович Кропивницкий.

Глава семейства, большого, творческого. Патриарх.

Самый главный и самый важный, в семействе своём талантливом, а может быть, и во всей богеме столичной, таинственный, знаковый человек.

С виду тихий. Всегда спокойный.

Так могло показаться. Кому-то.

Чужим, посторонним людям.

Властям. Но только – не нам.

Внутри – клокотали страсти.

Скрытые от людских, любопытных чрезмерно, глаз.

Не пускались туда – напасти.

Горение в нём великое – было не напоказ.

Вся тяжёлая жизнь бывая иногда прорывалась наружу.

Но – тут же, чуть обозначившись, показавшись, обратно пряталась.

Нельзя, чтобы все – видели.

Нельзя, чтобы многое – знали.

Кому какое, простите и поймите, до этого дело?

– Судьба нелёгкая, – промолвил Лао-Цзы, –

как сказал в своей книге «Сонеты на рубашках» его ученик прилежный, Генрих Сапгир.

Генрих – тот, вроде бы, так утверждают, букву одну в своей фамилии краткой, для благозвучия, видимо, когда-то, под настроение, неизвестно – зачем, изменил.

Был – углублённый в себя, своим становлением занятый, долгим, упорным, Сабгир.

Стал – обновлённый, встряхнувшийся, состоявшийся как поэт, авангардный, богемный, Сапгир.

«Б» на «п» исправил зачем-то.

(У Хлебникова в «Ладомире» сказано было так:

– Это шествуют творяне, заменивши Д на Т...

Но это – совсем о другом.)

Старый, опытный, мудрый, живущий в мире своём, сберегаемом в глубине души, Кропивницкий – ничего никогда в своей жизни трудной не исправлял.

Он принимал её – всю, такую, какой была она, какая была ему, однажды, свыше, – дана.

Он – радовался бытию.

Верил – в звезду свою.

Своему многогранному дару цену прекрасно знал.

Чутью своему точнейшему давным-давно доверял.

Головы, даже в годы тяжёлые, слава богу, он не сложил.

Он – просто-напросто жил.

Но, замечу тут же, при этом – и не совсем просто.

Был – сплошным продолжением роста.

Духовного, прежде всего.

Творческого. Извечного.

Везде и во всём – человеческого.

Крайне важного – для него.

Жил – свет в небесах любя.

Жил – землю славя свою.

В аду – жил, словно в раю.

Жил он – внутри себя.

А ещё жил – внутри своего, надёжного, узкого круга.

Во время оно им созданного.

Буквально из ничего.

(Так могло показаться кому-то.

Но мне так вовсе не кажется.

Круг доверия и уюта.

Столько судеб в нём вместе свяжутся!)

И получилось ведь, надо же, – кое-что. Даже больше – что-то.

Нечто. Нити срослись духовные. Разрослись, как цветы, щедроты.

Небольшого, в общем-то, роста, но довольно широкий, устойчивый, спокойно, привычно, уверенно ходил он по той земле, которую постигать не уставал, которую, попавшую вдруг в историю, по-своему, разумеется, с неповторимыми нотами, в своём ключе и тональности, без помпезности, без банальности, с откровениями, прозрениями, наблюдениями точнейшими, со словами наивернейшими, ужасаясь всему и тут же, неизменно, им восхищаясь, ни с властями, ни с общим бредом по привычке не пререкаясь, на своём пути одиноком страстно, искренне воспевал.

Обожал он прогулки, длинные и неспешные, – на природе.

Замечал он то, что другому не дано заметить – в народе.

Получал он заряд энергии от своих наблюдений в мире.

Лаконичен был он в письме, ну а мыслил – гораздо шире.

В домашних условиях – сиживал, вроде, в сторонке где-то.
Но оттуда – из глаз его – вырывались потоки света.
Но оттуда лишь – от него – исходили всегда все токи.
И стихии кипели в нём, продлевая земные сроки.
И все нити незримые крепко держал он в своих руках.
Вот какие бывают силы в некоторых стариках.
Он был – прирождённый, редчайший, здесь, у нас, педагог. От Бога.
Ненавязчивый. Терпеливый. И давал он всем нам так много!
Был учитель он – по призванию. Был наставником. Добрым другом.
Звёздным странником. Вечным путником – над земным завьюжен-

ным кругом.

Он был – человек созидающий.
О грядущем своём – не гадающий.
Обретающий всё – в движении.
Был он – вечное постижение.
Продолжение всех традиций.
Нарушение всех амбиций.
Утверждение всех новаций.
Сквозь бесчасье – всех навигаций.
Всех сражений – с жестоким злом.
Словом, поднятым – над числом.
Как фонарь. «Ищу человека!»
Неотрывным был он – от века.
Своего. Каков уж он – есть.
Был он весь – как добрая весть.
В жизни многих. И – в судьбах их.
Был всегда он – среди своих.
Благо, были свои – при нём.
Не играл он зазря – с огнём.
Он в себе его смог – сберечь.
Продлевал он – русскую речь.
Сохранял её – от невзгод.
Летописец. И – пешеход.
Бурь свидетель мирских и гроз.
Было всё в нём всегда – всерьёз.
Шёл он – к сути. В корень глядел.
Никогда не сидел – без дел.
Дело жизни – школа его.
В ней – заветов его торжество.
Дело жизни – в созданном им.
Был он свыше от бед храним.
И прошёл сквозь них – словно луч.
Был он – верой своей могуч.
Был он – тайной своей силён.
Был велик своим светом он.
Светом правды. Светом тепла.
Перед ним исчезала мгла.
Перед ним открывался – путь.
Внутри явлений. В самую суть.
Жизни смысл прояснялся вновь.
Ведь в основе всего – любовь.
Ко всему и ко всем вокруг.
Может, кто и воспрянет вдруг.

Может, что и очнётся вмиг.

Вот какой был этот старик.

И он, прозорливец, – учил.

Он, отшельник, творец, – созидал.

Мало того, что в течение долгих, достаточно сложных, а порою кошмарных лет, в затворничестве своём, плодотворном, сознательном, творческом, в отрешении от мирской, чуждой ему суеты, социальных проблем, барачного, подмосковного, дикого быта, столичного, заурядного, вопиющего безобразия, всеобщего, всесоюзного, на почве родной наростом прижившегося бесчасья, написал он такое количество своих уникальных стихов, что, уже в нагрянувшей с явным запозданием для него, не сдающегося, упрямого человека, досадной старости, когда он не то чтобы сразу же, нет, с боем, сопротивляясь всеми силами, духом всем, старению, неприемлемому для горения, одряхлел, но как-то постариковски, что, впрочем, вполне объяснимо, если возраст вспомнить его, устал от всего вокруг, с трудом умещались эти писания многолетние во множестве чемоданов.

Мало того, что поистине, полагаю, неизмеримое число работ живописных и графических создал он.

Создал он ещё и свою – нет подобных ей и в России, и в далёких западных странах, в мире нет ей подобных, – школу.

Руководил Кропивницкий – упорным противостоянием отвратительному режиму, всяческой официальной шелупони в русском искусстве – он противопоставлял своё собственное искусство и искусство людей талантливых из своего, надёжного, близкого окружения.

Приветливый, очень воспитанный, чрезвычайно простой в общении с людьми, был он внутренне горд, всегда и повсюду помнил о собственном, личном достоинстве, о крылатой своей душе, и ещё, подчеркну сознательно, прекрасно знал себе цену.

Ещё всё той же, столь щедрой на события и на знакомства хорошие, важные, осенью шестьдесят четвёртого года, когда я, провинциал, степняк, молодой поэт, поступив довольно легко, несмотря на огромный конкурс, в Московский университет, стал жить наконец в столице, когда, непрерывно знакомясь с творческими людьми, впервые услышал о нём, а потом и увиделся с ним, я отчётливо понял: он – легенда, причём не из этих, на скорую руку состряпанных, а настоящая, давняя, с прочной, серьёзной основой, со всеми необходимыми для этого предпосылками, со всем, широчайшим, пёстрым, прямо-таки устремлённым к нему одному, стечением самых разных порою, жизненных и творческих обстоятельств, которые все работали – на него, всегда – для него.

Там, в своей тишине, в простоте, в затворничестве многолетнем, был он – может быть, самой сложной и самой загадочной личностью из всех знакомых, которых я считал таковыми.

И живопись ведь его, внешне вроде бы лёгкая, простенькая, отчасти, в чём-то, хотя бы в чистом взгляде на мир, наивная, на поверку, на самом-то деле – очень сложная, с элементами своеобразного эпоса и лиризмом сквозным, трагическая.

И стихи его, вроде бы, надо же, такие уж, батюшки-светы, ничего себе, братцы, простенькие, порой почти примитивы, ну вот, например, такое исчерпывающее, точное описание некоей осени:

«Улетели птички. Отсырели спички»,

на поверку тут же оказывались весьма и весьма непростыми, сложными, многоплановыми, это был наполненный всеми приметями бы-

тия, всей окрестной, будничной, праздничной, бестолковой, неповторимой, многослойной и многоликой, той, что щедро была дарована, свыше, с детства, той, окружающей душу в зрелости, жизнью, мир.

Кропивницкий старый, Евгений Леонидович, сам был – целый, всеми звёздами озарённый, всеми радостями звучащий, всеми горестями скорбящий, всеми чаяниями наполненный до предела, верой хранимый и любовью спасаемый, мир.

И те его современники, соратники, собеседники, кто понимали это, благодарны были ему – за то, что могли вместе с ним бродить в этом дивном, всё-таки, несмотря на все сложности или несуразности всякие, частности житейские, огорчения и заботы насущные, мире, могли в нём жить, по желанию, а могли и на время выйти из него, чтобы после опять вернуться, – мир Кропивницкого был объёмным, полифоничным, там вдосталь было волшебной, по-своему, тонкой, серьёзной, грустной и светлой, музыки, настоящей, собственной, страстной, современной, из века двадцатого, конкретной, трезвой, осознанной как выход из всем нам навязанного социального тупика на просторы нашей вселенной, вдосталь было там естества, да и ещё и того вещества, из которого, как планеты, неустанно формировались, под его наблюдением пристальным и всегдашним его руководством, словно им вдохновенно изваянными из рук его выходили, – новые личности творческие, со своими уже, отдельными, так задумано было заранее, так и вышло, больше ли, меньше ли, связи с миром главным учителя ни на миг никогда не теряющими и незримо им направляемыми на путях, земных и небесных, но тоже самостоятельными в движении жизненном, собственными судьбами и мирами.

Как уже было сказано, старый Кропивницкий был – прирождённый, дерзновенный, упорный творец.

Следует помнить, при этом, акцент здесь особый сделаю, что был он ещё и боец.

Да, представьте себе. Так – было.

Потому что, вроде бы редко появляясь на людях, там, где кипела богемная жизнь, где бурлила жизнь повседневная, где скисала жизнь государственная, советская, узаконенная, замешанная на крови сограждан, чумная, коварная, в основе своей бездарная, мифическая отчасти, с мистическим едким душком, от которого в горле ком нарастал, и сердце сжималось в тревоге, всё возрастающей, в тоске, пределов не знающей, стараясь не навлекать на себя различные беды, гонения и невзгоды, которых и так уже было на его веку предостаточно, вёл он – всю свою жизнь – борьбу сознательную, со злом, во всех его проявлениях.

Побеждал он в итоге зло тем, что нёс он людям – добро.

Свет был в нём, животворный, ясный.

Свет развеивал мглу и тьму.

И тянулись люди к нему.

Знали все: человек он – прекрасный.

Ко мне относился он всегда с теплом и вниманием.

Понимал, что мои задачи творческие – совсем иного рода, иного направления, что ли, в стихии русской речи, строя иного, духа, света, пути, восприятия всей вселенной как дома единого, ясной музыки изначальной, и наития, и чутья, и всего, что формировало непрерывно мою поэтику, и всего, что было моим, незаёмным, особенным, личным, было голосом и лицом, слухом, зрением, осязаньем, осознаньем себя в распахнутом чувствам всем и поступкам всем непростом и прекрасном

всё же, мне дарованном свыше мире, нежели все его чёткие собственные задачи.

Уважал – за эту мою очевидную самостоятельность, непохожесть на прочих, которых было вдосталь в те времена.

И я в нём ценил всегда его собственную, безусловную непохожесть на всё остальное, и уважал его искренне – за то, что сумел он выжить, сохранить в себе свет, продлить – сквозь безумие прожитых лет, отшумевших вдали, – несравненное, да, читатель мой, именно так, помни это, горение творческое.

В Кропивницком старом, в одном, – как матрёшки, мал-мала меньше, – все им созданные поэты и художники, начиная с Холина и Сапгира, вся немалая, разношёрстная, лианозовская компания.

Но его и ещё на стольких же, полагаю теперь, хватило бы.

Но ему и того, что есть, было вполне достаточно.

Знал он меру во всём. Чувство меры в высшей степени было ему, патриарху седому, присуще.

В стихах моих – он увидел, сразу же, с первых же строк, услышанных им, а потом, чуть позже, ещё и прочитанных с листа, в самиздатовских книгах моих давнишних, которые, разбредаясь по всей стране, добирались и до него, совсем другой, интересный ему, импульсивный, собственный, наполненный всеми красками и звуками бытия, изумлявший и притягательный, собственный, светлый мир.

То есть, то же, что видел я и в его, Кропивницкого, творчестве.

Поэтому с ним общались мы – понимая наличие, в каждом из нас, абсолютно разных, существующих самостоятельно в поэзии русской, целостных, жизнетворных, личных миров.

Так вот, в советской действительности, в промозглости дней дождливых, в холода ли, в жару ли, весною ли, в дни, когда тополиные почки разбухают и вот выпускают на волю, поближе к свету, молодую, клейкую зелень первых свежайших листков, а дети играют в мяч, и кто-то хлопает форточкой, желая всей грудью вдохнуть побольше тёплого воздуха, и где-то играют гаммы, а воронок милицейский везёт кого-то в участок, и спички уже на кухне барачной не отсыревают, и птички всюю поют, всё равно – когда, всё равно – в былом, где когда-то все ведь мы, соратники, современники, собеседники давние, жили, общались, порою дружили, задушевно, запросто, с пользой для каждого несомненной, с тайной в каждой душе сокровенной, с тягой к истине впрямь незабвенной, два мира, друг в друга вглядываясь, присутствию каждого радуясь, друг с другом встарь говорили.

Потапова Ольга Ананьевна.

Художница чудная. Тихая, задумчивая, таинственная.

Свет нездешний. Чистейший цвет.

Взгляд – сквозь время. Другого – нет.

В нём – обломки земных примет.

Звёзд остатки. Хвосты комет.

Лет растаявших лёгкий след.

Звук былого. Простой ответ.

На вопросы – извне – любые.

Вздых невольный. Пути мирские.

В поднебесье – тропа своя.

Человечьего знак жилья.

Пусть – провинция. Пусть – барак.
Пусть – Москва. Значит, надо так.
Мрак – отхлынет. И мгла – уйдёт.
Если сердце – чего-то ждёт.
Если в душу придёт – весна.
Если цель впереди – ясна.
Если холод средьзимний – лют.
И спасает – всегдашний труд.
Художница необычная.
Выразительница недосказанного.
Сказительница. Рукодельница.
Может быть – даже волшебница.
Долгие годы – супруга Евгения Леонидовича.
Верная, добрая, умная, достойная, светлая женщина.
Дама. Соратница. Друг.
И слова её – все, без вычетов, негромкие, но серьёзные, значительные во всём, в любой, казалось бы, мелочи, рачительные, разумные, светящиеся на солнце и при свече, горящей в обиталище скромном, на грани города и раздолья пригородного, на грани забвения и вдохновения, откровения и прозрения, в котором ясны очертания других, небывалых миров, уводящих в дали, где грезится пора блаженных даров, слова со своею музыкой, прерывистые, волокнистые, со сквозной золотую нитью, с прожилками тонкими, чистые.

И работы её – прозрачные, словно камешки-самоцветы коктебельские в дни, когда плещут волны, и берег весь, влажный, летний, усеян ими, собирай – не хочу, бери, если хочешь, в ладонь, смотри, перемешивай их с другими, потихоньку перебирай, словно чётки, сложи в узоры, чтоб ненастья нам ждать нескоро, чтобы цвёл киммерийский рай.

И жизнь её, долгая, трудная, жизнь юдольная, жизнь земная, – при всём, что пришлось ей вынести на пути своём, – очень светлая.

Такая, что чудится мне за нею ныне – сияние.

Лев Кропивницкий. Художник.

Авангардный, конечно. Иначе, наверно, и быть не могло.

В молодости – нахлебался горя, сидел в лагерях, вместе с другом своим, художником очень хорошим, тонким, несколько неотмирным, как могло показаться кому-то, но на самом-то деле просто преобразившим явь по-своему, и видения создававшим на фоне страшной действительности советской, в живописи и в графике, лаконичной и удивительно тонкой, трепетной, точной, волшебной, Борисом Свешниковым.

Испытаний разнообразных в жизни Льва Кропивницкого было предостаточно, даже с избытком.

Сын Евгения Леонидовича, он и путь в искусстве избрал себе – непростой. Но – творческий. То есть – в непрерывном движении, в поиске ритмов, образов, красок, форм, новых способов и возможностей выражения мыслей, чувств, дерзких замыслов, смелых решений живописных, графической резкости в каждой линии, грубоватости, первобытной какой-то, и всё-таки, вместе с тем, элегантно, даже, я сказал бы, хорошей изысканности в том, что он создавал годами терпеливо, сосредоточенно, как и надо, впрочем, художнику настоящему в жизни вести себя, находиться в трудах всегда, поднимать постоянно планку для себя, чтобы рваться ввысь, вглубь и вдаль, да и марку держать, зная цену себе и другим, в непрерывном этом движении, в беззаветном

искусству служении быть, везде и повсюду, всегда, в ситуациях непредвиденных и в быту, в мастерской, у мольберта, неизменно, самим собою

Он многое сделать успел.

Был в жизни он честен и смел.

В искусстве он был – новатором.

Открывателем новизны.

Любителем старины.

И, вместе с тем, – реформатором.

Не просто – искателем. Нет.

Умел он – своё находить.

Умел – за собой уводить.

Из тьмы выводить – на свет.

Живопись, графика Льва – динамичными были всегда, с энергетикой, в них клокочущей, с электрическими разрядами, с раскалёнными, воспалёнными, оголёнными, словно лезвия, словно иглы колкие, молниями, с гармоничным, при всё абстрактном тяготении к дисгармонии, грозovým, ненастным звучанием, с бесконечным, сквозь мглу, молчанием, с угловатым тонов течением, с узловатым, крутым влечением к просветлённости, столь желанной, что была она долгожданной, и всегда приходила вдруг, вовлекая в незримый круг слух и зрение, чувства все, в жарком, огненном колесе побывав поневоле, – так возникал сквозь работы – знак: жизни, песни, сплошной борьбы, знак надежды и знак судьбы.

Лев не лез никогда ни в какие, даже в самые перспективные или модные, группировки.

При множестве тесных дружеских и приятельских давних связей – был всегда он, всю жизнь, одиночкой.

Он писал и стихи. Опять-таки не такие стихи, как у всех.

Собственные. Особенности. Такие, какими они получались. Оригинальные. В каждом слове и в образе каждом, да и в букве любой – свои.

В девяностых годах Толя Лейкин издал его книгу, с его же выразительными рисунками.

Помню Льва у Сапгира – собранный внутри, приземистый, жёсткий, крепкий, с железной защитой от всего, что мешало ему.

Взгляд из-под крепких очков – как перископ – наружу – ненадолго, бывало, выдвинется: так, обстановка ясна, – и снова взгляд убирается, как перископ, вовнутрь.

И – подальше от суеты.

В свой, хранимый от глаз недобрых, драгоценный, внутренний мир.

Хватало ему вполне всего, чем давно привык он заниматься, день изо дня.

Прежде всего – своего, душу спасавшего, творчества.

Всё остальное – потом.

Занят он был – трудом.

Кропивницкая Валентина. Художница. Дочь Евгения Леонидовича Кропивницкого.

Лицо у Вали – сквозь время, сквозь драмы этого времени, и радости, и печали всегдашние, – белое, чистое.

Глаза с большими, какими-то избыточно влажными, тёмными, с особым, сквозь ночь, свечением, внутри, в глубине, зрачками, то грустные, то с весёлою в них искоркой, возникающей сквозь грусть и медленно тающей в хрустальном их отдалении от всяческой суеты, от бреда, для них излишнего, от шума, совсем не слышного, живущие, как цветы.

Спокойная. Терпеливая.
Конечно, трудолюбивая.
Воспитанная. Рассудительная.
В каждом жесте своём – убедительная.
Все грехи разным людям – прощающая.
Ничего им – не обещающая.
Кроме дивной своей доброты.
Кроме сложной своей простоты.
В тишине её, вовсе не в омуте, водились зверушки некие, сказочные
из её щедрого воображения вышедшие и живущие собственной стран-
ной жизнью.

Их она и рисовала.
Была Валентина женой давней Оскара Рабина.
Преданной. Любящей. Верной.
Всё с ним в жизни супружеской за долгие годы – вытерпела.
Всё, что выпало ей на долю, как сумела, перенесла. Молчаливая.
Говорила, особенно в шумных компаниях московских, богемных, буй-
ных, говорливых, крикливых, мало.

На людей смотрела она – вроде бы издалека, из той страны по-
таённой, где жили изображаемые ею, всегда загадочные, в приро-
де таких не встретишь, лишь на её работах повидеешься с ними,
зверушки.

Была хорошею дочерью.
Хорошей, наверное, матерью.
Была вообще – хорошей.
Без негативных черт.
За гранью, вдали, – всё прочее.
Стелилась дорога – скатертью.
Покрылась – белой порошей.
Мир был – жестокосерд.
Чего же в нём только нет!
Былого в нём – нет в помине.
А Валя светла поныне.
И нет в ней совсем – гордыни.
Есть – вера. И взгляд – из бед.
С такими – стоят святыни.
Сквозь морок ненастных лет.
Сквозь весь их разлад и бред.
Страдалица. Берегиня.
Предутренный ранний иней.
След лёгкий за гладью синей.
Неспешный вечерний свет.

Рабин Оскар. Художник.
Лидер нонконформистов.
Интересная, подчеркну, далеко не случайно, фигура.
Был очень на месте – в Москве.
Холсты свои продавал порою ещё сырыми, едва успев написать их, –
настолько велик был спрос в советские годы на них.
Раз в неделю, в шестидесятых, когда жил он с семьёй своей уже не
в бараке пригородном, а в Москве, на Черкизовской улице, принимал
он, маэстро, известный и на родине, и за границей, и на этом акцент я
сделаю, что вполне понятно, гостей.

Показывал им свои, как правило, немногочисленные, но зато всегда впечатляющие, безотказно, в десятку, работы.

Невозмутимый, с выбритой, задолго до нынешней моды на бритоголовость повальную тусовочную, головой, поблёскивая очками, стоял у мольберта, изредка давая, к месту, ко времени, краткие пояснения.

Ставил вначале один холст, а потом, помедлив, помолчав, покурив, другой.

Обычно их было немного.

Потому что новые вещи сразу же, незамедлительно, получалось всегда только так, повелось так давно, уходили в чьи-то хваткие, цепкие руки, в основном к иностранцам, любителям авангардного, запрещённого в отечестве нашем, искусства.

Небольшой, без излишеств, скромный, даже скудный, запас работ всё-таки дома держал Рабин – чтобы, при надобности, было что показать зарубежным гостям и согражданам.

Человек очень трезвый, практичный, с политической жилкою, умный, временами казался он мне мозговым, не иначе, центром некоторой, не всей, всех не брал он в расчёт, зачем, ни к чему тратить порох, части московских, близких ему, в разной степени, составлявших тесный круг, по различным причинам, даже дружеский круг, наверное, известных у нас и на Западе, и особенно там, на Западе, где свобода была, художников.

Да так оно всё и было, если в корень смотреть, на деле.

Идеи Рабина, все, без вычетов, осуществлялись, и всегда – с неизменным успехом.

Ну вот, например, пресловутая «бульдозерная», со скандалом, с шумом в прессе западной, выставка.

Трезвость в нём и практичность жили везде и всегда.

В трудах его поступательных.

В действительности советской.

И даже в обычном застолье.

Выпить и закусить хорошенько он очень любил.

Но головы Оскар никогда и нигде не терял.

Ничего не могу сказать о его как будто укрытой плотным чехлом образованности.

Он не любил беседовать.

При встречах всё больше помалкивал.

В период нашего СМОГа я довольно часто к нему приводил своих многочисленных, рвущихся поглядеть работы его, знакомых.

Оскар принимал – всегда.

Можно было, под настроение, просто взять да приехать к нему, днём ли, вечером ли, позвонив ему и сказав, что хочешь увидеться, и услышав его «приезжай», чтобы там, в квартире на первом этаже, побыть у него час-другой, а то и подольше, немного с ним, в кои-то веки, спокойно поговорить, немного, само собою, и это понятно, выпить.

Оскар всегда был радушен.

И приветлив. И добр. И внимателен.

Был хозяином в доме своём.

Был – моим хорошим знакомым.

Не больше? Но и не меньше.

Приятелей и друзей и так у меня хватало.

Помню его – неизменно сдержанным в проявлении разнообразных эмоций, полностью отдающим отчёт себе в том, что теперь положение

у него, несмотря на всю очевидную неофициальность его занятий любимой живописью, на удивление прочное, что молодость и нищета – где-то в далёком прошлом, как и его ученичество у старого Кропивницкого, а теперь есть квартира хорошая, дом в деревне, для отдыха, есть, деловые знакомства всякие, среди них и солидные, важные для карьеры художника, есть, есть надёжные, постоянные, год от года всё более крупные, что любому приятно, заработки, есть известность, всё более крепнущая, да и прочее, необходимое в жизни, есть, остальное же – будет, обязательно вскоре будет, – и усы его, коротко стриженные шевелились над плотно сжатыми, с ядовитым изгибом, губами, и только в глазах его чудилась иногда мне внезапно мелькающая то ли грусть, то ли просто усталость – от чего? от кого? почему? – никому не узнать никогда.

В семидесятых Рабин, с Валею и сыном Сашей, навсегда уехал на Запад.

Саша вырос, художником стал.

А потом Саша Рабин – погиб.

Как-то видел я по телевизору, в передаче о нынешних «русских парижанах», действительно странных, для чужого-то мира, людях, то есть о бывших московских, в прежние годы, художниках, ныне живущих в Париже, Оскара Рабина с Валею Кропивницкой – оба такие тихие, что тишина в них сущностью их была, сдержанные, молчаливые, с виду совсем, как в сказке русской, старик со старухой.

Будто бы не в парижском ателье сидят они рядышком, а где-то в ином, нарисованном Валею, сказочном мире, даже, возможно, мирке, небольшом, симпатичном, уютном, на берегу спокойного, прозрачного водоёма, среди широко разросшихся густых, остролистных растений и славных, добрых зверушек, и солнышко пригревает, или в небе сияет луна, всё едино, всё тихо, спокойно, здесь уютно им, здесь они дома, к ним подходят зверушки добрые, разговоры с ними заводят, а они сидят и молчат.

«Простые, тихие, седые...»

Не о них это было сказано.

А припомнишь – так, вроде, о них...

2

...Раздаётся звонок – беспокойное Морзе, истощное SOS! – открывается дверь – и в квартиру врывается Зверев.

Толя под хмельком, но не пьян.

А точнее, поскольку точность, как в рисунке или в поэзии, и важна, и необходима, да ещё и незаменима, как и сам художник, пришедший в гости к другу и здесь нашедший и вниманье, и пониманье, скажем прямо – не слишком пьян.

Одежда на нём заграничная, такой в магазине московском при всём желанье не купишь, просторная и удобная, ещё относительно чистая, хотя об неё то и дело вытираются тщательно вымытые, с мылом, с пемзой и со стиральным порошком, а потом с шампунем, после улицы, где рассадник вредоносных бацилл, бактерий, эмбрионов, микробов, спор, подозрительно шустрых вирусов, грязи, мусора, шелухи, сточных вод, помоев, и всякой безымянной, зато всеядной, потому и опасной, гадости, или, если по-русски, в корень, поглядеть, если правду-матку резать, в лоб, если чуют сразу эту нечисть, то просто дряни, и держаться

подальше надо от неё, за версту, не меньше, если хочешь в столице выжить, да ещё и что-нибудь, может, не халтуру, а поприличнее, по старинке намалевать, удивительно гибкие, быстрые в каждом жесте и в каждом движении, в постоянном брожении, кружении, в раздражении и скольжении, в каждом взлёте, в любом положении, в зазеркальном их отражении, в гипнотическом небрежении ко всему, что мешает им, виртуозные, это верно, музыкальные, это в точку, гениальные, так, возможно, золотые, пожалуй, руки.

Зверев брезглив. Даже больше: повышенно-чутко брезглив. И мнителен. Даже слишком: настолько, что сам порою признаться готов – мол, в этом заходит он далеко. Но трудно себя переделать. И никому не удастся, хоть в чём-нибудь, хоть случайно, его, такого, каков он есть, каков от природы, а может, и по причине жизни его небывалой на юдольном его пути, то на грани фантастики, то на краю какой-нибудь пропасти, то в прострации, то в азарте, то в полёте и на подъёме, то в милиции, то в дурдоме, то приветствие ритуальное возглашающего торжественно, лаконично: «Тебе, Тибет!», ну а то, и такое бывало, с удовольствием явным, в охотку, всем готовящего обед, вьявь живущего вне времён, исчезающего, как сон, а потом из невзгод и без возникающего чуть свет с неизменным: «Привет, старик!», а потом в неизвестность – брык, и оттуда – неожиданно вдруг, и опять – в неизбежный круг, – однажды переубедить.

Десять раз, напряжённо, бдительно и дотошно, так, чтоб никто не проник вслед за ним сюда, так, чтоб враг не прошёл, оглядывается: нет ли погони? – всё ли спокойно и тихо вокруг?

Под пиджаком у него – две рубахи, обе навыворот, – чтобы не ранить грубыми швами нежное тело художника.

Усаживается, – да так, чтобы стул под ним не трещал, табуретка под ним не шаталась, понадёжнее выбрав сидение, то есть стул осмотрев поначалу и решительно забраковав, а потом осмотрев табуретку, повертев её так и этак и одоблив её наконец как приемлемую для него, – поудобнее, всем своим весом, всем составом сложным своим, всем набором странностей всяких приземлившись, пусть ненадолго, пусть на время, чтоб отдышаться, успокоиться, отдохнуть.

Хрюкает вдруг: «Хрю-хрю!», корчит рожу смешную, морщится, ухмыляется, надувается, громко фыркает, а потом улыбается благодушно, и хохочет, по-детски, весело, и, сощурясь, чуть-чуть косит примечающим всё, хитрющим, влажным, карим глазом своим.

Из внутреннего кармана добротного, дорогого английского пиджака, вначале помедлив немного и якобы призадумавшись, извлекает на свет вместительную, не нашенскую, конечно, литровую, заграничную, приятного вида бутылку самого настоящего, лучшего вкуса и качества, крепкого, чистого джина.

Стакан, взятый этак небрежно, жестом гуляки праздного с журнального низкого столика, ополаскивает старательно, причём не водой из-под крана, горячей или холодной, но собственноручно и щедро налитым из открытой с пробочным хрустом бутылки, диковинным в те времена для советского человека, драгоценным, редкостным джином, – им же брызжет себе на темя, на лицо, на плечи и за ворот, льёт пахучей струёй за пазуху, – для надёжности, для профилактики, для защиты от всякой заразы, так, на всякий случай, авось и поможет, во всяком случае от чего-нибудь да защитит.

Пьёт, конечно же, но – понемногу. Захотел – глотнул, захотел – сделал два или три глотка, и довольно. Зачем перебарщивать? И куда, скажите, спешить?

Меньшую дозу напитка, глоток за глотком, – выпивает, большую, раза в три больше, запросто, – выливает.

Куда выливает? А всё равно, куда – на стол, или на пол, в тарелку, а то и в окно.

Хлебные корки сразу же от всего батона отламывает, складывает в сторонке смятой румяной горкой, – ест, по своей привычке, под которую, впрочем, подводит весьма солидную базу, и даже может об этом, тут же, прямо на месте, серьёзный трактат написать, поскольку любит, при надобности, поступки свои обосновывать, а хлеб надо именно так есть, – только белый мякиш.

Поглядит куда-нибудь искоса, громко хрюкнет, умело крякнет.

Снова, хмурясь, в который уж раз, этак пристально, по-охотничьи, или словно в дозоре находится, на часах, оглядится вокруг: нет ли здесь кого из чужих?

Поведение такое доходчиво, внятно, трезво, с полнейшим знанием дела, развиваемую тему по ходу рассказа продлевая затейливыми вариациями и поддерживая внушительными комментариями, объясняет манией преследования.

Когда окончательно убеждается, что всё спокойно, всё в норме, всё в полном порядке, всё – «хорэ!», как он обычно приговаривает, высказывая своё одобрение, – то и сам, окончательно, полностью, весь, и это сразу заметно, просветляется, расслабляется, успокаивается, добреет.

И весь – да так, что ахнешь, – вдруг меняется!

Нет больше и в помине знаменитейшего, то дерзящего всем и повсюду, то затравленного властями, в дальний угол какой-то загнанного, в щель невидимую забившегося, чтоб невзгоды там переждать, чтоб ни слуху о нём и ни духу, чтоб о том, где сидит он, ни-ни, а потом опять возникающего на виду, как будто явился он в самом деле из-под земли, с грудой новых работ, с ухмылкой неизменной, вместо ответа на вопросы, где же он был, основательно посвежевшего и, похоже, полного сил и готовности внутренней ринуться в новый бой, подвигнуть себя на великие новые подвиги, не похожего ни на кого из людей искусства, поистине одиозного, крупного «Зверя» из божественных московских легенд.

Есть – приветливый, очень искренний, да к тому же ещё умнейший, с цепкой, точной, народной, крестьянской, грубоватой тамбовской хваткой, но и добрый, щедрый, отзывчивый, без темнот и туманов, светлый, очень русский, нелепый, несчастный, замечательный человек.

Широко тогда открываются и внимательно, грустно смотрят карие, с желтоватым огоньком, с угольками зрачков, тёплые, полные влаги и тихого света, глаза, и нет в них больше недавнего, чутко настороженного, слишком уж напряжённого, вынужденного прищура.

Теплеет, и это заметно, теперь у него на душе, в интонациях появляется удивительная сердечность.

Никто его никуда – видит он – отсюда не гонит.

Наоборот, его по-настоящему любят.

Словно капризный ребёнок, он хочет в этом ещё, хотя бы разок, убедиться.

Хочет оставить что-нибудь, от себя, чтоб сделать приятное людям, которым верит он, от души, на память – «для дома».

Это может быть молниеносный, артистичный, чудный рисунок, сделанный, как обычно, на чём угодно и тем, что вовремя оказалось под рукой, и даже, порою, при отсутствии рисовальных принадлежностей, например, вином, окурком и пеплом.

Это может быть и рассказ, очередная байка из несуразной, но полной разнообразных событий, фантастической, феерической, многозначной, фантазмагорической, сюрреальной, абсурдной, сказочной, легендарной, былинной, мифической, так уж, видно, сложилась она, героической зверевской жизни.

А рассказчиком Тимофеич, как по-свойски, по-дружески, ласково, мы его иногда называли в наши давние времена, между тем был отменно хорошим.

Помню я множество рассказанных им под настроение историй.

Ну вот, например, такую.

После прошедших с небывалым триумфом, – глубоко поразивших, да что там, буквально потрясших всю Европу, а за нею и весь мир, прогремевших и нашумевших широко, неожиданно, с размахом, и заставивших зарубежных знатоков и политиков призадуматься о судьбе не имеющего никакого отношения к официозу, настоящего русского, яркого, авангардного, разумеется, и гонимого в СССР, но упрямого, непокорного и живучего на удивление, несмотря на запреты, искусства, – персональных зверевских выставок шестьдесят пятого года, в Париже и где-то в Швейцарии, – власти наши забеспокоились.

Какой-то художник – из тех, непризнанных, неразрешённых, мутящих воду, мешающих спокойно и правильно жить, обормот, бродяга, пьянчуга, психопат, голодранец, нахал, туняец, незнамо кто, может, антисоветчик ярый, или кто и похуже, предатель, например, интересов страны, и, похоже, выродок явный, и, возможно, тайный агент, и поэтому гад и засранец, – а смотрите-ка, надо же, ишь ты, – умудрился-таки прославиться, не у нас, а конечно, на Западе, и таких делов натворил непонятной простому народу неприличной своей мазнёй, что давненько уже не бывало в этой самой старушке Европе и подальше, за океаном, столько шума, со всеми их воплями и призывами их цэрэушными, в пику нам, в защиту искусства!

Если он зарвался вконец, привести его надо бы в чувство!..

Навели, разумеется, справки.

Для властей это просто. Раз плюнуть.

Всё узнали – мгновенно.

И что же?

Ну и тип! Откуда – такой?

Сплошные приводы в милицию, и при этом в таком количестве, что даже выдавшие виды работники МВД, глядя на весь этот балаган, только за голову берутся.

Бесконечные, регулярные, да к тому же ещё ни разу не оплаченные почему-то, игнорируемые сознательно, видно, штрафы из вытрезвителей.

Ну, милиция. Ну, вытрезвители. Это как-то понятнее, проще, по-народному, вроде, привычнее, чем какая-то заумь. Родное. Повсеместное, как ни крути. Ишь ты, гусь, мать его ети!

Всё бы так.

Да ещё и психушки!

Здесь уже – другая епархия. Или даже, заметим, область. Ну а может быть, и планета. Есть куда – упрятать, сослать, с глаз долой, со счетов списать. Расчудесные заведения! Медицинские учреждения! Хорошо, что психушки есть. Их в Стране Советов не счесть.

Если что, в запасе есть отличный ход!..

Что там Зверев, этот киплингский кот?

Шагает, представьте себе, как и всегда, вдоль и поперёк, туда и сюда, с завидной лёгкостью перемещается, преимущественно в такси, а вовсе не на своих двоих или на общественном транспорте, по всей матушке-Москве, в любые концы столицы успеваешь заглянуть, причём не только в центре околачивается, но и на самых дальних окраинах, и даже за городом периодически бывает, рисует чуть ли не на каждом перекрёстке.

Да ещё и что-то, как выяснилось, давно сочиняет в стихах и в прозе – а вот это уже любопытно, и возьмём-ка его на заметку, и хотелось бы знать, что именно, поконкретнее, он сочиняет – может, лютую антисоветчину, или пасквили там какие-то, или всякую всячину прочую, отсебятину и бредятину, что никак, возможно, не впишется в рамки строгие самого правильного, утверждённого нашей партией, потому и родного, кровного, благоверного соцреализма?

Между прочим, не только с соотечественниками, что можно с натяжкой стерпеть, а когда терпение лопнет, хорошенько всё утрясти, процедить и отфильтровать, подвинтить, раскрутить, подмазать, и работать с таким знакомым и давно, признаться, приевшимся до оскомины материалом никаких особых трудов не составит, – но и, заметьте, с иностранцами, и причём интенсивно, с большой охотой и, наверно, в своё удовольствие, как докладывают, общается.

От многочисленных, штатных и внештатных, усердно работающих советских осведомителей, верных, надёжных, проверенных на невидимом, скрытом фронте непрерывно ведущейся, важной для отечества, тайной войны, поступают о нём в соответствующие и почти всесильные органы достаточно регулярные, но весьма и весьма любопытные, в основном почему-то полярные и во многом противоречивые, выражающие, тем не менее, убеждённое, личное мнение самых разных людей – о художнике и о творчестве странном его – постоянно, без перебоев, разрастающиеся, обильные, урожаем щедрым свалившиеся прямо в папки с делами, сведения.

Одни говорят, что это самый обычный псих, причём законченный псих, классический, так сказать, – а другие на полном серьёзе утверждают, что это гений, да не просто гений, и всё тут, а особенный, чистой воды.

Такого же твёрдого мнения – мол, гений, конечно, и всё тут! – придерживается, как выяснилось, давно уже и богема, и всякие собиратели произведений искусства, наши коллекционеры, среди которых, заметьте, немало солидных фигур.

И надо же, как бывает, – посмотришь разок на него, и только и остаётся, что молча рукой махнуть да коротко, по традиции, в сердцах, про себя, матюкнуться, – охламон охламоном с виду, так, босяк, алкаш, из народа, люмпен, что ли, ни то ни сё, и не то чтоб ни кожи ни рожи, рожа есть, да ещё какая, говорящая больше, чем следует, о нахальстве и самомнении, о давнишнем пристрастии к выпивкам, о таком, чего хоть отбавляй у любого, у каждой пивной, похмеляющегося с утра, чтобы днём по новой напиться, а потом похмеляться опять, откровенного забулдыги, – но вот какая загвоздка и вот какой парадокс – а выставки-то заграничные, в обход наших служб и законов, каким-то загадочным образом, но всё-таки состоявшиеся, его, а не чьи-нибудь, выставки, на корню, говорят, раскупаются.

Пикассо, представьте себе, да-да, а ещё коммунист, называет – его-то! – лучшим рисовальщиком – ну, дела! – не какой-нибудь там страны,

или даже, допустим, Европы, или, хрен с ней, пускай Америки, но – ни больше ни меньше – столетия.

Западная, то есть вражеская, продажная, как известно, и лживая, не в пример советской достойной прессе, прогнившая, как и весь вшивый капитализм, купленная с потрохами денежными мешками, вредная, гнусная пресса пишет о нём взахлёб.

Раз уж картинки его, что бы там ни было им намалёвано, хоть за-каляки, чего-то, выходит, да стоят, причём, подчеркнём, в валюте, то налицо, безусловно, факт утечки валюты, которая, в общем-то, в принципе, могла бы пополнить существенно карман государства советского.

Надо, надо, товарищи, на него, на этого Зверева, внимательно поглядеть.

В высших, понятно, инстанциях.

Что он за зверь такой?

Поскольку живопись и графика имеют самое прямое отношение к культуре, то в Кремле и порешили: пусть всем этим занимается министр культуры, Екатерина Алексеевна Фурцева. Она толковая, грамотная, по-марксистски отменно подкованная, идеи вождей проводящая в культурную жизнь страны, дотошная, деловая, во всём сама разберётся – и сразу же обо всём доложит, без промедления, подходчивей, поконкретнее, буква к букве, – туда, наверх.

Там, в случае чего, распорядятся.

Начали, конечно же, немедленно, не откладывая дела в долгий ящик, искать окаянного Зверева по всей огромной Москве.

А его – нигде, ну нигде, куда бы вдруг ни на грянули, кого ни спросили бы, – нет.

Прячется, паразит, по обыкновению, – прячется.

Отсиживается, небось, у друзей, у своих собутыльников, – то у одних, то у других, то у третьих, то у четвёртых, у него их в запасе вдосталь, – и поди его там найди!

То и дело меняет места обитания, всякие лежбища, норы, схроны, пещеры свои.

Решили тогда Москву целенаправленно, тщательно, район за районом, прочёсывать.

Примерно ясно ведь, где искать – по мастерским художников, подвальный или чердачный, по некоторым квартирам, в которых он частый гость.

А обо всех остальных малоизвестных логовах и берлогах неведомых зверевских – стукачи непременно разнюхают и легко наведут на след.

Но найти злополучного Зверева, оказалось, – было непросто.

Почувяв с ходу неладное, усилил он многократно свою обычную бдительность.

Так спрятался, так укрылся, что днём с огнём не найдёшь.

Наконец, после долгих поисков, застигли его врасплох, нагрянули, отловили.

Вежливо, но ледяным, отработанным так, что многих от него буквально трясло и бросало то в жар, то в холод, исключаящим все возражения, призывающим лишь к подчинению, или, жёстче, к повиновению, внешне вроде спокойным тоном пояснили: в такой-то день и в такой-то час за тобой, за твоей персоной, дружок, по твою, брат, душу, приедут – и доставят, куда полагается, для начала – к самой государыне Екатерине Третьей, свет Алексеевне, матушке нашей, всея культуры владычице, всесильной, всевластной Фурцевой.

Не вздумай, гад, улизнуть: найдём и по всей строгости, как мы это умеем делать, по полной программе, накажем.

Как ни крути, как ни верти, но предстояло, выходит, свидание, да какое, – такое и не приснилось бы ни в страшном, ни в добром сне, и наяву не пригрезилось бы, – с министром советской культуры.

Как предстать, себя сохранив, отстояв свои убеждения и оставшись самим собою, вопреки любым провокациям, – перед властью, в лице министра, пусть она и женщина, явленной, да пред ясны очи её?

Как же выйти из положения?

Дело, братцы, опасное: связь, безусловная и доказанная, запрещённая и наказуемая, вплоть до лагеря, до тюрьмы или ссылки, да всяких судов, да мучений сплошных, – с границей.

Формализм, который по всей стране совсем недавно громили.

Да мало ли что ещё собрано здесь, выходит, нитка к нитке, виток за витком, в одном, неведомо кем смотанном лихо, с подвохом, спутанном, бестолковом, подsunутом вдруг судьбою или кем-то другим, чтобы нынче попытаться его размотать, бедою грозящем, роящем страданья, погибель сулящем, в грядущем сомненья таящем, нелепом, как соцреализм, бредовом, как мир окружающий, абсурдном, как путь к коммунизму, где ждут нас одни катаклизмы, увиденном трезво сквозь призму опасности, жутком клубке!..

Зверев стал – напряжённо думать.

И, конечно же, кое-что, как всегда с ним бывает, – надумал.

Помогли ему, или, уж если выражаться прямо и просто, крепко выручили, спасли, – в молодые бурные годы с пониманием им воспринятое от художника Васи-фонарщика, а солидней – Василия Яковлевича, знаменитого нашего Ситникова, великого педагога и, без тени малейшей сомнения, выдающегося, прирождённого, это правда, гипнотизёра, юродство – древнейший русский способ самозащиты, а также – природная зверевская, тамбовская, видно, смекалка, и мужицкий, от почвы, недюжинный, с парадоксами, с вечной самостью, на путях земных и небесных, и в быту, его ум стержневой.

Сюда же следует отнести и врождённый, временами просто фантастический, – приходится, говоря о Звереве, повторять именно это слово, но лишь оно и выразит наиболее точно то, что в герое действительно было, – грандиозный его артистизм.

Готовясь к визиту грядущему, облачился Толя, сознательно, из любви к артистизму, но ещё – из любви к парадоксам, и, конечно же, из озорства, в то, что похуже выглядит, короче – во всякую рвань.

Понаделал побольше дыр – может, вспомнил о скульпторе Муре? – или, может, себе представил наше русское решето? – понаделал так много дыр, где возможно только их сделать, где нашёл для этого место в захудалой своей одежде, что, казалось, в нём пробудился крепко спавший дотоле дизайнер, да ещё и сверхсовременный, ультралевый авангардист.

Лил себе за пазуху водку, не жалея сорокаградусного приснопамятного напитка, щедро, чтобы покруче пахло.

Штаны надел хоть и английские, но настолько и так вызывающе испачканные, измазюканные, ухандоканные вконец в процессе творческом радужными, павлиньими, пёстрыми красками, что у любого, со стройки, занюханного маляра спецовка рабочая выглядела неизмеримо лучше.

Щетину не брил специально: пусть в глаза бросается сразу же, точно дыбом вставшие иглы у рассерженного ежа.

Волосы лихо взлохматил: пусть торчат себе во все стороны. Подаренные недавно коллекционером Костаки, «дядей Жорой», как он его по-приятельски называл, Георгием Дионисовичем, как звали его другие, новёхонькие, скрипучие, как раз по ноге, ботинки, поразмыслив, решительно снял.

Изыскал где-то старые, ветхие, из начала века, возможно, прохудившиеся галоши, здоровенные, прямо клоунские, размеров на пять побольше, чем его привычная обувь.

Ноги, сняв носки, обернул советскими, всем знакомыми, центральными, то есть партийными, как на подбор, газетами, в несколько плотных слоёв, – да так это сделал художественно, что даже издали можно было, при желании, прочитать, – где «Правда», а где «Известия».

Соорудив из газет этакие бумажные, многослойные, с головоломкой шрифтов и названий статей, портянки, надел цирковые галоши и стал терпеливо ждать, когда же за ним приедут.

Приехали вскоре за ним на чёрной бесшумной машине вежливые, спокойные люди в шляпах и в серых, неброских, но добротных, длинных плащах – и повезли его напрямиком к пребывавшей где-то на кремлёвских высотах власти, в далеке самом дальнем, Фурцевой.

Благополучно прибыли куда полагалось, – на место.

Зверев спокойно вошёл в кабинет министра культуры.

Фурцева тут же, с деланной, условно-любезной улыбкой, – шагнула к нему навстречу.

И – сразу же – онемела...

Перед ней – что за бред? – стояло – что за вид? – натуральное чучело.

На странной фигуре вошедшего был надет пиджак, но какой-то не такой, как надо бы, – густо, даже слишком густо усеянный сплошными, вплотную идущими, одна к другой примыкающими, разнообразными дырами, ну прямо как решето, с прорванными карманами и грязными, смятыми лацканами.

Штаны на вошедшем были так густо измазаны краской, что непонятно любому, кто ни взглянул бы на них, становилось – материя это или грубая мешковина, или ещё что-нибудь, но вот что – да кто его знает!

Ноги вошедшего были всунуты в преогромные, клоунские, похоже, старые, даже древние, прохудившиеся галоши, оставляющие на паркетe отпечатки мокрые рубчатые, и туго, на совесть, обёрнуты сделанными из газет какими-то, вроде, портянками.

На одной ноге, приглядевшись, прочитала Фурцева: «Правда», – многократно и виртуозно повторённое и размноженное название столь знакомое родной, любимой газеты, главного в государстве нашем печатного органа коммунистической партии, на другой ноге прочитала – сплошным шрифтовым эхом продолжающееся название, тоже близкое сердцу, – «Известия».

Под пиджаком у вошедшего в кабинет министра высокий красовались две разных рубашки, обе – швами наружу, причём были выпущены свободно почему-то поверх штанов.

Верхняя рубашка была, хоть и грязноватая, но белая, ну а нижняя, почище, – красная, и ещё из-под неё выглядывала синяя линияя футболка.

Налицо, как видим, были все цвета нынешнего нашего, российского, флага лет сплошной свободы, триколора.

Выходит, Зверев о своей принадлежности именно к России, о прямой своей связи, кровной, духовной, гражданской, с Россией, ещё в середи-

не шестидесятых не просто позаботился, но перед самим министром культуры тогдашним, по существу, в открытую, декларативно, заявил.

Даже здесь его звериное чутьё безотказно проявилось – и сработало!

Даже в этом он, получается, настоял на своём. Внутренне, что по тем временам уже много и достойно похвал, – победил.

От самого невероятного из всех, кого ей пришлось повидать на веку своём, на посту своём, посетителя – так невозможно пахло, что Фурцевой стало дурно.

– Вы кто? – прикусила губку и слабо спросила она.

Толя вскинул тогда на дамочку, на Екатерину Третью, на министра всея культуры, ангельски кроткие, карие, с поволокою влажной, глаза – и скромно ответил:

– Я – Зверев!

Потом достал из-за пазухи сложенную в несколько раз газету «Советская культура», неспешно развернул, громко в неё высморкался, так же неспешно свернул и положил обратно.

Это решило всё.

Фурцева что-то вдруг поняла.

Может быть, поняла.

Вернее, интуитивно почувствовала, что этого человека ничем не прошибёшь.

Она отступила к столу, на котором громоздились афиши зверевских выставок, каталоги и образцы западной прессы, приготовленные с определённой целью – в нужный момент показать на них и гневно спросить: «Что это такое?»

Но Фурцевой было не до разборок.

Её мутило.

Зверевский, звериный, чудовищной крепости, запах – волной прокатился по кабинету и настиг министра культуры.

Пусть она и была, как поговаривали, женщиной пьющей, – но такого букета выдержать не могла.

Участливо глядя на Фурцеву, Зверев снова полез за пазуху, за «Советской культурой», намереваясь высморкаться.

Фурцева бессильно опустила в кресло.

Проработка не состоялась.

Что за гипнотическая сила исходила от невозмутимо стоящего посреди кабинета художника?

– Идите, идите! – только и сказала Фурцева. – Всё хорошо. Идите с богом!..

И томно махнула ручкой.

Зверев невозмутимо повернулся и вышел.

– Ну что? – спросили его вежливые люди, ожидавшие в коридоре, – доигрался?

Зверев победоносно взглянул на них:

– Сказала, что всё хорошо. Чтобы шёл с богом. Не верите – спросите. Она подтвердит.

Из кабинета донеслось характерное бульканье наливаемой в стакан жидкости.

Потом раздался облегчённый вздох и прозвучало самоуспокоительное: – Всё хорошо!..

Граждане, караулившие у дверей, обалдели.

Зверев достал из-за пазухи «Советскую культуру» и смачно высморкался в неё.

Назидательно поднял палец:

– Вот так! Всё у меня хорошо. А теперь везите меня домой, в Свиблово-Гиблово. Я иду. С богом!..

...Закончив рассказывать, Зверев похохатывал.

Рука его тянулась к карандашу.

И вот на случайном листке уже мчалась куда-то в пространство ускользящая от погони лошадка. В яблоках.

(О художник!

Что будет потом?

...Зверев поднял глаза и вздохнул: «Вот, пришлось зарастить бородою. Милицейский недавний разгул обернулся, как видишь, бедою. Зубы выбиты. Печень болит. Еле вправила челюсть врачаха. Тот, кто не был, как следует, бит – не поймёт застарелого лиха». Ухмыльнулся: «А всё же – живой. Волк тамбовский, люблю я свободу, пусть с разбитой не сплю головой, и дышу – никому не в угоду. И меня не сломаешь, пойми, я не те ещё видывал виды, – потому и брожу меж людьми, не держа на безумцев обиды». Акварель – что похуже – достал, выбрал кисти – из тех, что пошире, – и разбуженный лист засверкал в невесёлом и пасмурном мире... Сколько было радений ночных, и бесед, и случайных застолий! Сколько встреч – невозвратных, земных, – я в душе сохранил, Анатолий! Кем ты был – это ясно сейчас даже тем, кто глумился, бывало. Ну а скольких восторженных глаз оголтелая мгла не скрывала? Ты лежишь под тяжёлым крестом, чашу жизни испивший в печали, всё оставивший нам – на потом, чтобы чудо в лицо узнавали.)

3

...Жёлтые листья кружились в жемчужном, с прожилками яшмы и серебряной нитью, воздухе над головами прохожих. Синева небес была яркой. Солнце грело. И люди щурились, на источник света поглядывая, рассиявшийся наверху. Ну а понизу чуть сквозило ветерком, и асфальт высыхал на удивление быстро, хоть по углам, в тени, и поблёскивали зеркалами, опрокинутыми случайно, малочисленные, небольшие, уцелевшие после дождя, отшумевшего ночью, лужицы, отражавшие небо с листьями, лица, стены, витрины, окна, и меж ними ходили голуби, не боявшиеся людей, и шныряли в поисках пищи воробьиные шустрые стайки, а поодаль, за кровлями, там, за Кремлём, за Москвою-рекой, вырастала, густея в пространстве, грядущая хмарь, но её замечать никому не хотелось, и время, щадя округу, от щедрот своих, пусть ненадолго, не спешило напомнить об этом, и город вставал на пути её неприступной старинной крепостью, всех от невзгод защищая, непогода ли это, беда ли какая, зима ли суровая, битва ли это жестокая, череда ли забот предстоящая, мало ли что, но тепла в нём ещё хватало для всех.

Осенью шестьдесят третьего, в октябре, опьянённый своими прогулками по столичным солнечным улицам, шёл я в центре, мимо кафе «Дружба», между Неглинкой, тихой и малолюдной, и довольно шумной Петровкой. Навстречу мне шли неспешно двое людей незнакомых и о чём-то своём разговаривали. Видно, двое хороших приятелей. Один, с буйной гривой вьющихся, густых, смоляных волос, глядящий куда-то вдаль, прямо перед собою, но выше людских голов, горящими жарким

пламенем, тёмными, южными, бархатными, но словно слегка обугленными, скорбными или грустными, трудно сказать, глазами, смугловатым, среднего роста, легко и свободно шагающий по тротуару, какой-то с виду очень уж необычный человек, тридцати пяти, приблизительно, лет, не больше, двигался вроде и рядом со своим разговорчивым спутником, но и совсем отдельно от него, бубнящего что-то неразборчивое, и тем более отдельно от всей толпы людской, от всех, от всего, что было вокруг, совершенно независимо, сам по себе, в порыве, словно вот-вот раскроются сильные крылья у него за плечами, и он взлетит устремится ввысь, и настолько был он, подумалось, ни на кого не похож, настолько своеобразен, красив какою-то древней, тонкой, резной, индийской или же украинской, породистой красотой, настолько был не из этого времени, не из этой реальности, не из этой вот повседневной, московской, привычной всем и каждому, толчеи, что я, глубоко поражённый, даже остановился. Спутник его, человек нескладный, несколько взвинченный, может и вдохновенный, по-своему, так бывает, но всё равно почему-то более прозаичный, высокий, на вид помладше, лет около тридцати, в сползающих на нос очках, со спутанными ветерком, всклокоченными вихрами, на ходу, на каждом шагу, поворачивался к приятелю и настойчиво, непрерывно что-то ему говорил. Темноглазый красавец шёл молча, слушая своего спутника разговорчивого, но будто бы отделённый от него и от всех его слов некоей ощутимой, пусть и незримой, стеной. Двое странных весьма незнакомцев приближались уже ко мне. Очкастый, явно подвыпивший, довольно громко, с утрированным, театральным каким-то пафосом, темноглазому говорил:

– Нет, Коля, я всё понимаю. Я понимаю, Коля, ты – гений. Живой. Настоящий. Ты гениальный поэт. И ты столько уже написал! Но жить, Коля, как-то ведь надо! На что-то ведь надо жить! Существовать. Питаться. За жильё аккуратно платить. Выпивать иногда, как все люди. Ездить куда-нибудь. Я понимаю. Да. Всё понимаю прекрасно. Ты живёшь в своём мире. Ты его создал. Это твой мир. Но годы идут, Коля. Никто тебя не печатает. И не собирается, судя по всему, и в дальнейшем печатать. А ты всё пишешь да пишешь. Ну да, ты гордый у нас. Царская кровь! Порода! Но ты оглянись вокруг. Спустись с облаков на землю. Ты где живёшь? И в какой стране? И в каком времени? Эх, Коля, Коля, дружище! Вот смотрю я сейчас на тебя – и грусть меня снова охватывает. Ну, хорошо, ты ещё достаточно молод. А дальше? А что дальше? Ну что? Надо ведь что-то делать! Надо как-то, видать, пробиваться! Возьми Евтушенко, Женю. Ты с ним учился вместе в Литинституте. Я с ним учился. Выбился парень! И разве можно его стихи с твоими сравнить? Ты, обладатель таких дивных, несметных сокровищ, пребываешь в полной безвестности. Ну, знают стихи твои друзья. Ну, ещё кое-кто. А Женя-то знаменит. Его-то весь мир знает. Он пробился. А ты и не думаешь пробиваться. Не хочешь, и всё тут. Живёшь себе и живёшь. Пишешь и пишешь. Надо ведь что-то всё-таки делать, Коля!..

Темноглазый красавец молчал. Ничего не ответил он своему очкастому спутнику. Он только вдруг побледнел, у меня на глазах, высоко закинул кудрявую голову, и глаза его вспыхнули жарким, солнечным, звёздным огнём. Так, с закинутой головою, словно птица в свободном полёте, разливая вокруг себя исходящий из глаз его жар, прошёл он, вместе с приятелем, отдельно и от него и от всех остальных в толпе, мимо меня, потом через Неглинку, и дальше, на Кузнецкий мост, и всё выше по Кузнецкому, выше, туда, где меж крышами зданий

проглядывало удивительно синее небо, и скрылся там, вдалеке. Только позже, в семидесятых, понял я, в озаренье мгновенном: это был Николай Шатров.

В начале семьдесят пятого, посреди тогдашних бездомниц, познакомился я и вскоре подружился с Женей Нутовичем, знаменитым коллекционером, собравшим за многие годы замечательную коллекцию современной, нашей, отечественной, авангардной, запретной живописи. Это была одна из лучших коллекций в стране. Убедился я в этом сразу же. Своего тогдашнего мнения не собираюсь менять и ныне. Что есть, то есть. И едва я взглянул на Нутовича, как в ту же секунду признал в нём очкастого, разговорчивого спутника темноглазого красавца, в незабываемом для меня октябре шестьдесят третьего, между Неглинкой и Петровкой, солнечным днём. Не удержавшись, я тут же поведал об этом Жене. Став серьёзным, он призадумался. Уставился сквозь очки свои вдаль, словно пристально вглядываясь в дорогое, минувшее время. Потом убеждённо сказал:

– Конечно, всё совпадает, это были мы с Колей Шатровым.

– Вот видишь! – сказал ему я.

– Но как ты всё это запомнил? – изумлённо спросил Нутович.

– Запомнил! – ответил я. – Нельзя было не запомнить.

Мы сидели с Женей вдвоём, в самой большой комнате, заполненной, плотно увешанной, от потолка до пола, замечательными картинами. Целков, Кабаков, Соостер, Мастеркова, Немухин, Рабин, Харитонов, Зверев, Плавинский, Слепышев, Кропивницкий, подаренный мной Ворошилов... Кого же там только не было! Не квартира – крупный музей. Выпивали, понятное дело. Женя был человек пьющий. Он меня приютил у себя. Сам отлучался частенько, то к матери, то ещё куда-нибудь, ненадолго, или надолго, по-всякому выходило, давно привык. С женой был Женя в разводе. Супругу его, пусть и бывшую, я так никогда и не видел. Говорили: собой хороша. Был я в его трёхкомнатной квартире этаким стражем при коллекции первоклассной. Зато на зимний холодный период, в пору бездомниц, был у меня и ночлег. Почему же не угостить, иногда, уж как получается, по своим возможностям скромным, приютившего вдруг меня, скитаниями многолетними порядком уже измотанного, у себя в московской квартире, от души, добровольно, искренне, хорошего человека? Дары мои выпивонные Нутович всегда принимал как нечто само собою разумеющееся. Любил он, выпивая неспешно, с толком, обстоятельно побеседовать со мною на самые разные, нередко полярные темы, где хватало и тьмы низких истин, и, за ними, немедленно, нас возвышающего обмана, и мистического тумана, и стихов, что вовсе не странно, и легенд, без оков и прикрас. Женя выпил ещё глоток и спросил меня, с тёплой, почти задушевной, протяжной ноткой в сипловатом, простуженном голосе, что бывало всегда у него самым верным, первейшим признаком лирического, с вариациями различными, настроения:

– А скажи мне теперь, Володя, ты Колю Шатрова знаешь хорошо или так, немного?

– Виделись иногда, – сказал я, – но дружба у нас не возникла. Уж так получилось. Я – сам по себе. Он – сам по себе. Две планеты разные. Два разных мира, вернее.

– Да, – сказал Нутович задумчиво, – так бывает в жизни, бывает. А вот странно! Смотри, как выходит. Поскольку я нынче стихи твои

знаю уже основательно, то, Володя, тебе говорю откровенно и прямо: ты гений. Познакомился я с тобой недавно. И вижу, что наше знакомство переходит в хорошую дружбу. Колю Шатрова я знаю очень, очень давно. И давно считаю: он гений. А теперь ты, Володя, скажи мне: почему два таких поэта, как вы с Колей, живя в одно время и зная одних и тех же, примерно, людей в Москве, ну, пусть и не всех он знает, кого знаешь ты, у тебя круг знакомых побольше, но всё-таки почему же вы не подружились?

– Господи! Ну и вопрос! Так и знал, что его услышу, – сказал я тогда Нутовичу. – Но ты ведь прекрасно, Женя, понимаешь, что так бывает. И не так ведь ещё бывает. Хорошо, что живы мы оба. И на том спасибо. В трудах дни проводим, каждый по-своему. А в дальнейшем – кто его знает? – может, и дружба возникнет. Я себя сроду, известно всем, никому никогда не навязывал. Коля, как вижу я, тоже. Друг другу мы не мешаем. Существоем, каждый из нас отдельно, самостоятельно, независимо друг от друга. Так уж вышло. Такая судьба.

– Судьба! – согласился Нутович. – Вот именно. Так я и думал. Судьба. Да. Везде – судьба.

Он шумно вздохнул. Налил себе вина в стакан, до краёв. Помедлил. И разом выпил.

Я встал. Подошёл к окошку, разукрашенному затянувшейся стужей, в палехском духе. Походил немного по комнате. Открыл запылённую крышку пианино, взял несколько джазовых аккордов. Потом присел за старенький инструмент, стал негромко играть.

Женя, опять вздохнув, налил себе новый стакан, до краёв, конечно, вина.

– Ты Гершвина, колыбельную, из «Порги и Бесс», ну, ту самую, сегодня можешь сыграть? – спросил он меня задумчиво.

– Могу! – откликнулся я.

И заиграл эту вещь, не гершвиновскую, кстати, не им самим сочинённую, но им когда-то записанную, превосходно аранжированную, вышедшую на свет из негритянских распевов. Я и сам её очень любил.

Женя снова вздохнул и сказал:

– А давай позвоним Коле Шатрову! Он у своей Маргариты, недалеко от меня, живёт. Пусть приедет! Выпьем. Поговорим. Стихи почитаете, оба. И подружитесь, полагаю.

– Звони! – согласился я.

Нутович, стакан отодвинув, потянулся рукой к телефону. Быстро набрал номер.

– Алло! Маргарита? Приветствую тебя. Это Женя Нутович. Скажи мне, а Коля дома? Что, что? Не слышу. Он в Пушкино? На даче? В такой-то холод? Ну, это в шатровском духе. Снова пишет? Ну, молодец. Ты ему передай, что звонил Нутович. Мы у меня, вместе с Володиёй Алейниковым, поэтом. Да, да, с тем самым. Знаешь? Вот и чудесно. А Коля когда появится? Что? Не скоро ещё? Ты сама едешь к нему? На ночь глядя? Ну, тогда привет передай. От нас обоих. Пусть пишет. Со звонимся потом. До встречи!

Он, вздохнув, положил трубку.

– Жаль, что не вышло встретиться с Колей прямо сейчас!

Уж так ему, видно, хотелось этого нынешним вечером.

– Ничего, не переживай, – сказал я. – Ещё увидимся.

– Увидимся! – согласился Нутович. – А так мне хотелось, представляешь, чтобы мы встретились!

– Всё успеется, Женя, – сказал я. – Всё у нас ещё впереди.

– Да, – согласился Нутович, – всё у нас ещё впереди.

Впереди были два, всего-то, года жизни у Коли Шатрова. Но разве тогда, зимой, посреди холодов и снегов, оба мы знали об этом?

...Время вдруг разъялось – и я увидел себя, измученного, совершенно больного, в бреду, в невероятном семьдесят седьмом, Змеином году, в дни бездомниц, на склоне марта. Каким-то непостижимым образом, не иначе, даже не волю, наверное, собрав умуdivившись в сгусток энергии, не поддающейся логическому толкованию, а что-то куда выше воли, и тем более выше упрямства простого, тогда я добрался до Марьиной Рощи, в дом, находящийся неподалёку от чудесной церкви Нечаянная Радость, близко совсем от того, среди пятиэтажек и дворов пустоватых, места, где мой друг Леонард Данильцев познакомил меня когда-то с Игорем Ворошиловым, и знакомство это немедленно, по счастью, стало началом нашей дружбы, высокой и светлой, с этим великим художником, – добрался я, перемогая себя, на авось, по чутью, к Виталию Пацюкову, в давние времена, и особенно в шестидесятых, тоже другу, так я считал. Я добрался туда, в жару, с трудом держась на ногах. Пацюков приютил меня. Уступил мне комнату маленькую в своей обжитой, двухкомнатной, довольно уютной квартире. Там, в окружении множества книг и хороших картин, стояли письменный стол, стул и узкая, старая, низенькая тахта. И я, обессиленный, сразу же просто рухнул на эту тахту. Пришлось мне, как говорят в народе простом, несладко. Трое суток не мог я подняться. Ничего совершенно не ел. Только изредка пил воду. Пот холодный лил с меня так, что тахта промокла насквозь. Я не спал. Пытался заснуть. Почему-то не получалось. Странные состояния, пограничные, между явью и сном, – да, вот это было. Мне надо было теперь обязательно перебороть болезнь, в которой, наверное, всё собралось воедино – простуда сильнейшая, боль, безысходность, усталость безмерная, физическое истощение, нервное напряжение, от всех моих затянувшихся, кошмаром ставших бездомниц, отчаяние, тоска, надежда на чудо, – всё, всё. Я попросил хозяев, друзей моих, то есть Виталия и Светлану, его жену, слишком уж не пугаться, не переживать за меня, врачей никаких, что бы ни было со мною, не вызывать, а просто дать мне возможность отлежаться в тепле, в тишине, оставить меня одного на какое-то время в покое. Кажется, Пацюковы правильно меня поняли. Не на улицу ведь меня, захворавшего, выпроваживать, да ещё в таком состоянии! Приютили меня, слава богу. До выздоровления. Временно. И на том спасибо. Тогда я это очень ценил. И я, друзьями оставленный смиренно, с самим собою наедине, в отдельной, с книгами и картинами, с окном занавешенным, с дверью приоткрытой, на всякий случай, маленькой, тихой комнате с погашенным светом, лежал на узкой тахте и бредил. Тяжко пришлось мне, что там теперь такое скрывать. Подумывал даже: выжить бы. За окнами разгулялась всюю холодная, влажная, позднемартовская, тяжёлая, затяжная, безбрежная непогодь. Я лежал на узкой тахте, в одиночестве, в темноте, в тишине, среди книг и картин, и перемогал болезнь. Меня посещали всё время видения, невероятные, непрерывно, как в киноленте отдельные, частые кадры, сменяющиеся, мелькающие, чередующиеся с какой-то непонятной совсем быстротой, развёрнутые в каком-то неизвестном, странном пространстве, возникающие в каком-то совершенно ином измерении, чем привыч-

ные нам, земные. Помимо болезни моей, томило меня и мучило ещё и предчувствие острое непоправимой беды, которая, может быть, даже произошла уже или вот-вот, мерещилось, внезапно произойдёт с кем-то из очень хороших, дорогих для меня людей. Видения надвигались, накатывались, наслаивались, наползали одно на другое, смешивались, клубились, исчезали, опять возникали, стремительно, без перерывов. Я слышал чьи-то знакомые голоса. Слышал громкие крики. Потом, неожиданно-негаданно, что-то вдруг меня с места сорвало, подняло высоко над землёю – и вынесло прямо в космос. Там, на виду у нашей многострадальной планеты, мерцавшей внизу, в черноте, поистине беспредельной, невыразимо огромной, происходили действительно небываемые, странные вещи. Там снимали какой-то фильм. Это была мистерия. Почему-то я вмиг это понял. Не драма и не трагедия. Эти жанры здесь не годились. Мистерия. Именно так. Режиссёр знаменитый, Андрей Тарковский, в клетчатой кепке, в распахнутой кожаной куртке, с шарфом на птичьей шее с выпирающим кадыком, скуластый, черноволосый, весь в движении, упоённый дивным ритмом, редчайшей возможностью что-то важное для него прозревая в происходящем, тут же снять его, руководил съёмками кинофильма. С металлическим, серебрящимся рупором в быстрых, вытянутых куда-то вперёд руках, летал он меж оператором со стрекочущей кинокамерой и актёрами, среди которых то смутно, то более чётко, различал я знакомые лица. И вот уже прямо на съёмочную площадку, в пёстрый сумбур её, в ледяном созвездий мерцании, в космической черноте, ворвалась откуда-то издали, извне, из других галактик, чудовищная, по мощи и по размаху, сила, стихия, вселенская буря, скопление тусклых шаров, раздробленных, острых камней, песчинок, метеоритов, обломков прекрасных зданий, разнообразных предметов, обиходных, самых простых, и загадочных, неземных, иголок с длинными нитями, изорванных книжных страниц, свёрнутых в трубки свитков, статуй, осколков зеркал, невероятное месиво, жуткое завихрение, и надвинулось вмиг на всех, и Тарковский метался в космосе, и кричал отчаянно в рупор: «Снимайте! Скорее снимайте!..» И фигуры людей закружились в черноте, в мерцании звёздном, – ну в точности как на картинах моего тогдашнего друга, печального ясновидца, родом из-под Чернобыля, Петра Иваныча, Пети Беленка, художника, видевшего наперёд, и такое ведавшего, чего не знали другие, – всех куда-то наискось, в сторону, в глубь, за хрупкую грань реальности, что-то стало вдруг уносить, и унеслись киносъёмки в неизвестность, словно в воронку, вместе с ужасным, всеобщим, хаотическим завихрением. И услышал я крик: «Маргарита! Отвори мне скорее кровь!..» И тогда показалось мне, что это голос Шатрова. И возникла чудесная музыка, светлейшая, непохожая на всё, мною ранее слышанное. Музыка длилась и длилась. «Николай!» – раздался откуда-то громкий, спокойный голос. И другой, вслед за ним: «Шатров!» И потом прозвучало: «Царь!» Я всё это слышал отчётливо. Был в бреду. Посреди видений. Но Шатров, носивший фамилию материнскую, так получилось, по отцу был Михин, потомок, это знали все мы, Ивана Калиты, то есть царской крови. Калита – из скифского рода. Много скифов было когда-то на Руси, много было в Москве. Отсюда и характерная, броская внешность шатровская, смуглота его, красота, восточная, южная, древняя. Обрывки этих и прочих, подобных соображений проносились роем в мозгу. Их сменяли видения, новые, надвигавшиеся непрерывно. Всё усиливалось ощущение разрастающейся тревоги.

Боль была слишком сильной, просто невыносимой. Меня лихорадило, в жар бросало, знобило, крутило. Я то стонал иногда, то упрямо стискивал зубы и молча лежал и терпел. День сменялся кошмарной ночью, ночь сменялась кошмарным днём, а я всё бредил, и всё ещё мучительно выживал посреди бесконечных, бессонных, измотавших меня видений. И вот, сам не зная зачем, почему я, больной, это делаю, нашарил я в темноте листок бумаги и ручку – и набело записал, почти вслепую, на ощупь, четыре стихотворения, мистических, как оказалось, и сверху потом написал название странного этого цикла: «Во дни беды». И случайный листок бумаги с неизвестно зачем записанными на нём в потёмках стихами, вместе с ручкой, сразу же выпал на пол, вниз, у меня из рук. То ли я потерял сознание, то ли всё-таки, может, заснул. Утром я очнулся, уже отчасти поздоровевший. Мне было неловко, что я, поневоле, ведь не нарочно, потревожил чету Пацюковых. Извинился я перед ними. Сказал им, что постараюсь вскоре уйти от них. Но куда идти? И к кому? Да ещё в таком состоянии. Телефон был рядом. Пришлось хоть кому-нибудь позвонить. Механически я набрал застрявший в памяти номер одного своего знакомого, который порой позволял мне пожить, на птичьих правах, недолго, в его квартире. И услышал голос его: «Вчера мы похоронили, вот беда-то, Колю Шатрова...» Трубку выронил я из рук. И увидел, внизу, на полу, возле тахты, где я мучился посреди видений, в бреде, и сражался за жизнь, исписанный мною листок бумаги. Поднял его. Прочитал стихи свои. И – всё понял. С трудом изрядным собрался. Попрощался любезно с хозяевами. И ушёл – куда-то вперёд. В пространство. Или сквозь время. В боренья свои – с недугами, видениями, кошмарами. В бездомицы. В явь столичную. На звук вдалеке. На свет...

Через год Маргарита, вдова Шатрова, когда рассказал я, вкратце, без многих подробностей, ей о своих видениях и показал записанные тогда, в конце марта, стихи, голову подняла высоко – и грустно сказала:

– У Коли был сильный приступ. Он закричал: «Маргарита, отвори мне скорее кровь!» Я растерялась тогда. Ничего я не понимала. Вчера только был он вполне, так думала я, здоров, как раз, похудевший, спокойный, вышел из голодания, целый месяц ведь голодал. И его Кириллов с Шириялиным, знакомые люди, нормальные, вроде бы, так я считала, уговорили выпить. Домашняя самогонка, очень чистая, уверяли, что целебная даже, возможно, не пробовала, не знаю, не пью и другим не советую, настоящая на травах. А на следующий же день ему стало внезапно плохо. Я испугалась. Очень. Совершенно не знала, как вести себя, что мне делать. Вызвала по телефону врачей. Приехала к нам «скорая помощь». Коля в тяжёлом был состоянии. Его увезли в больницу. Там, в тот же день, он умер.

И Маргарита надела на свою сухую, точёную, тёмноволосую голову королевы воображаемой приготовленную заранее, в обычной сумке, с которой ходила она везде, в одиночестве королевском, в роли вдовы поэта великого, несравненного, который сказал ей однажды: «Когда я умру, ты увидишь сама, что начнётся тогда», собственноручно сделанную ею, изящную, лёгкую, как в детской игре, корону. Маргарита всегда её надевала, когда приходила в гости к своим знакомым. Картонная, королевская, корона, сверху оклеенная конфетной, блестящей фольгой. Отчасти, можно подумать, карнавальная, игровая. Отчасти же – отдающая безумием, роковая.

Король со своей королевой. Николай со своей Маргаритой. Она так давно считала. Так всегда говорила. На стене её дачного домика в Пушкино, деревянного, вроде скромного теремка или старенького скворешника, – сказал мне кто-то, сгоревшего, больше не существующего, но так ли это, не знаю, – нарисованы были, помню, король со своей королевой. Разумеется, оба – в коронах.

Маргарита была художницей. Годами делала кукол. Каких-то я, кажется, даже видел. Но не запомнил. Маргарита была блаженной. И практичной – как-то навыворот. Что ни сделает – всё не так. Но старалась всегда – держаться. Она была старше Шатрова. Лет на десять. Никак не меньше. Но существенной разницы в возрасте никогда она не замечала. Колю она любила страстно, преданно, самозабвенно. И очень уж своеобразно. Как никто никого не любил.

Шатрова похоронить хотел возле церкви, в которой служил он в семидесятых, отец Александр Мень. С этим известным священником Шатров дружил и частенько, по-соседски, к нему захаживал, когда жил на даче в Пушкино. Староста церкви, дама без имени и фамилии, решительно воспротивилась тому, чтобы здесь, у храма, какого-то там подпольного, неизвестного ей поэта, даже если на этом настаивал сам священник, похоронили. И тогда Шатрова – сожгли. Как давно предсказал он в стихах своих. В крематории. В пламени страшном. Урну с прахом – вручили вдове.

Урну с Колиным лёгким прахом, светлым пеплом, от жизни оставшимся, королевским, вернее, царским прахом, духом, вздохом по прожитым вместе с мужем счастливым годам, по любви, по женскому счастью, Маргарита держала долго при себе, у себя дома. Чтобы рядом супруг был всегда. Когда она, время от времени, отправлялась куда-нибудь в гости, то неизменно с собой, в сумке или в пакете, и урну с прахом прихватывала. Придёт, бывало. Накрашенная. Принаряженная. Причёсанная. На свою точёную голову корону тут же наденет. Урну с Колиным прахом достанет из сумки или пакета – и сразу её на стол, на самое видное место. И приветствует всех собравшихся с достоинством, по-королевски:

– Здравствуйте! Мы к вам сегодня в гости с Колей пришли!..

Некоторые мнительные, с воображением развитым, пожилые, седые граждане, и не только они одни, но даже, куда уж дальше, зелёная молодёжь, и особенно, разумеется, чувствительные сверх меры и до крайности впечатлительные, из числа поклонниц шатровских былых, из числа любительниц поэзии, милые дамы, немедленно падали в обморок.

А Маргарита, высокая, стройная, королева, да и только, блестя глазами, одной рукой прижимая как можно крепче к себе урну с Колиным прахом, другой рукой грациозно поправляла свою корону и читать принималась всем, по памяти, с выражением, королевским, звенящим золотом, хорошо поставленным голосом, шатровские, удивительные, пророческие стихи.

Потом, по прошествии некоего, довольно долгого, времени, она, королева вдовая, всё-таки захоронила бесприютный шатровский прах. Потихоньку. Втайне от всех. Нелегально. Без всяких формальностей. На Новодевичьем кладбище. В месте привилегированном. Там, где давно покоится отец её, крупный советский деятель времени сталинского, латыш, человек суровый и надёжный, Рейнгольд Берзинь. В уголочке вроде каком-то закопала урну. Под боком, под опекою, у отца. Пусть её король там лежит. Уж она-то об этом знает. Остальные – это неважно.

Тихо, мирно, самостоятельно, никого ни о чём не спрашивая и тем более не упрашивая, не вымаливая позволения на такое вот захоронение, как вдове у нас полагается, и тем более – королеве, предала она прах поэта, как сумела, сама, земле. О чём впоследствии мне однажды и рассказала, чрезвычайно собою довольная.

Вот такая – о боже! – история. И такая, представьте, судьба. Наивысшая категория. Сон – вне яви. И – пот со лба. Что ни шаг, то сплошная мистика. (Россыпь строк на пространстве листика.) Что ни взгляд, зазеркальный знак. (Не собрать их теперь никак.) Что ни слово, астральный свет. (Путь сквозь век. Черета примет.) Кто сумеет – собрать, собрать? Ночь пройдёт. Возвратится – речь.

А потом, уже в девяностых, Маргариту просто ограбили. Расстарался некий субъект. Ей самую же и назначенный, а зачем, поди разберись, неизвестно откуда свалившийся на её королевскую голову, беспронырливый, или монстр натуральный, из как бы времени, по её же наивному мнению деловой человек, рассудительный, обещальщик-душеприказчик. Всё забрал у неё, подчистую. Рукописи, фотографии. Всё, что связано было с Шатровым. В мешки всё это сложил – и утащил. С концами. Об этом поведали мне друзья шатровские старые.

Маргарита – не Берзинь, а Димзе. Почему – её не расспрашивал. Пострадала семья. Репрессии. В лагерях намучилась мать. Маргарита звонит иногда. Уж не знаю, цела ли корона. Тяжело мне с ней говорить. Жаль её. Но за Колю – больно.

Маргарита недавно звонила. Она почему-то решила подарить мне шатровский костюм. Шведский костюм. Целёхонький. Тот самый, один-единственный из всей одежды имевшейся – приличный, в котором Шатров, Бог знает, когда, лет сорок назад или даже больше, надел его специально, чтобы выглядеть посолоннее, оправился как-то к поэту хорошему, с трудной судьбой, сибиряку, Леониду Мартынову, в гости, в надежде, что тот ему, понимая в стихах, глядишь и поможет с публикациями, но Мартынов, едва завидев костюм, немедленно заявил, что для бедствующего поэта, совершенно не издающегося, это слишком шикарно – и в помощи Шатрову тогда отказал. И вот Маргарита вспомнила, через столько лет, о костюме: «Возьмите его, Володя! Он вам как раз впору. Вы с Колей одной комплекции. Костюм совершенно новый!..» Ну что на такое скажешь? Не нужен мне этот костюм!

Когда-то, в былые годы, когда мы, с моей женой Людмилой и нашими маленькими славными дочерьми, жили дружно, но крайне бедно, и носить мне и в самом деле иногда было просто нечего, а купить в магазине одежду, даже скромную, просто не на что, Маргарита пришла к нам однажды в гости и подарила мне шатровский старый костюм, который, как оказалось, в свою очередь, встарь когда-то подарил ему друг его добрый, знаменитый тогда пианист Софроницкий, и я, от безвыходности, костюм этот, серый, потёртый, какое-то время носил, а потом перестал носить. И ещё она, в те же, далёкие, времена глухого безвременья, подарила мне, от щедрот своих, старый шатровский плащ, широкий, зелёного цвета. Я его так ни разу и не надел. Вроде цел он. Да, висит, всё же память о прошлом, в шкафу, у меня в Коктебеле.

Сам я сделал немало достойных публикаций стихов Шатрова. Это, в общей сложности, целая книга, очень хорошая. Но Маргарита мои старания не оценила. Похоже на то, что она, вдова-королева в короне, так толком и не поняла, за все прошедшие годы, что некоторая часть наследия литературного её покойного мужа с трудом, но всё-таки издана.

Шатровская дочь, Лелиана, вовсе не Маргаритина, хрупкая, как Офелия, с виду – белая лилия, лунною ночью расцветшая в тиши – давно умерла. Сын шатровский, Орфей, тоже не Маргаритин, живёт, насколько я помню, в Калуге. Я видел его. Он очень похож на Шатрова.

На могиле Шатрова я не был. Был ли кто-нибудь там, вообще? Как найти её, если нет опознавательных знаков? Стоять у могилы Берзиня и думать, что там, где-то сбоку, с краешку, нелегально, лежит Николай Шатров – или, верней, его прах?

Мистика, да и только. Бред. Видения. Знаки. В небе – лунная долька. В почве – пепел и злаки. В песнях – доля и воля. В жизни – любовь и вера. Звёзды. Кристаллы соли. Символы да химеры.

И всё это сам Шатров – при жизни ещё, провидчески, в стихах своих, и особенно в стихах своих лет последних – давно уже предсказал. Был – настоящим поэтом. Жил – несладко, нескладно. В речи своей – остался. И время его – впереди.

К СМОГУ – имел отношение. Не всё принимал – у Губанова. Ко мне относился – с восторгом. Да вот не успели мы с ним подружиться. Такая судьба.

Я ещё расскажу о Шатрове. Не всё ведь сразу. Согласны? Он ещё придёт в мои книги. Да и к вам он придёт. Стихами. Вечер. Молодость я вспоминаю. Тот октябрь, где листья слетали и под солнцем тёплым горели золотистыми ворохами...

(Окончание следует.)